

Жюль РЕНАР

Естественные истории

*Перевод с французского
Агнессы Коган*

Москва
Издательский дом «Юность»
2003

Ренар Жюль. Естественные истории. /
Перевод с французского Агнессы Коган. — М.:
Изд.дом «Юность», 2003. — 160 с.

В оформлении использованы рисунки
Феликса Валлоттона.

© Коган Агнесса Иосифовна, 2003
ISBN 5-88653-056-8

ОТ ИЗДАТЕЛЬСТВА

Жюль Ренар (1864–1910) – один из наиболее ярких писателей Франции рубежа веков. Блестящий стилист и мастер детали, прозаик, сочетающий глубину с лаконизмом, Ренар стал связующим звеном между классиками XIX века и новой литературной волной 1930-50-х гг., уклонившейся от авангардного влияния и давшей такие выдающиеся явления, как проза Сент-Экзюпери и Камю. Начиная с 30-х годов XX столетия Ренар становится своим и для русского читателя – прежде всего это касается тонкой и печальной автобиографической повести о детстве «Рыжик» и замечательных «Дневников» с их россыпью дерзких образов и эффектных афоризмов. Однако многие шедевры Ренара до сих пор не переведены на русский язык. Это касается и книги миниатюр «Естественные истории» (Histoires naturelles, 1896), впервые полностью выходящей по-русски.

Перевод «Естественных историй» сделан Агнессой Иосифовной Коган (р.1913), чье профессией всегда была не литература, а музыка: А.И.Коган окончила Московскую консерваторию, долгие десятилетия была педагогом и концертмейстер-

ром музыкальной школы имени Гнесиных. Однако с детских лет французский язык оставался для нее близким, а французские книги входили в ее постоянный круг чтения. Потому неудивительно, что полюбившуюся книжку Ренара ей захотелось перевести на русский – первоначально для себя и для узкого круга родных. Настоящее издание призвано познакомить с ренаровским шедевром более широкого читателя – и стать подарком к 90-летию переводчицы.



ОХОТНИК ЗА ОБРАЗАМИ

Он поднимается с постели ранним утром, на рассвете и выходит в путь, только если мысли его чисты, сердце открыто, а тело легкое, как летняя одежда. Он не берет с собой еду. В дороге он будет пить свежий воздух и вдыхать благотворные ароматы. Он оставляет дома свое оружие и довольствуется открытыми глазами. Глаза будут сетью, в которую сами попадутся окружающие его картины.

Первая пленница — дорога, она выпирает свои кости, отполированные камни, и свои колеи — вены, разрытые между двух изгородей, богатых шелковицей и терновником.

Затем он вбирает в себя картину реки. Она белеет на сгибах и засыпает под ласками плакучих ив. Она, как зеркало, отражает рыбу в прыжке вверх животом, как будто кто-то бросает серебряную монету, и, когда падает тонкий дождь каплей, река словно покрывается гусиной кожей.

Он собирает картины волнующихся колосьев, аппетитной люцерны и лугов с руб-

цами прорезанных ручейков. Он схватывает на лету полет жаворонка и молодого щегла.

А затем он входит в лес. Он не знал, что обладает даром испытывать такие тонкие ощущения, вобрав в себя все запахи леса. Он полон немой тревоги, он стремится ближе сойтись с деревьями, и поэтому его нервы сливаются с прожилками на их листьях. Дрожая, он ощущает сильное волнение. Это как удар, от которого становится страшно, и он покидает лес, держась на расстоянии от крестьян-мукомолов, которые возвращаются в деревню.

Но сначала, на просторе, он останавливается, он должен дождаться, когда глаза привыкнут к свету солнца. Оно уже клонится к закату, опуская на горизонт свои лучезарные одеяния, свои облака, которые в беспорядке набегают друг на друга, а потом легко разбегаются.

С полной головой впечатлений возвратившись наконец к себе, он гасит лампу и долго, прежде чем заснуть, с удовольствием пересматривает свои картины.

Покорные, они рождаются вновь, подчиняясь воле его памяти. Каждая из них будит другую, и без конца они скрещиваются с вновь пришедшими, расцвеченные яркими красками. Это как куропатки: преследуемые и обнаруженные днем, поющие по вечерам перед лицом опасности, они вспоминают свои борозды, свои глубокие укрытия.

КУРИЦА

Соединив лапки, она спрыгивает с наеста, как только ей открывают дверь.

Это обычная заурядная курица скромного наряда, которая никогда не несет золотых яиц.

Ослепленная светом, она делает несколько неуверенных шажков по двору.

Сначала она разглядывает кучу золы, в которой по привычке барахтается каждое утро. Она подходит, погружается в нее, с трепещущими крыльями, со вздутыми перышками она вытряхивает ночных блох.

Затем она идет пить из глубокого блюда, наполненного последним ливнем.

Она не пьет ничего, кроме воды.

Пьет она маленькими глотками и вытягивает шею, чтобы не терять равновесия на краю блюда.

Затем, среди всего, что валяется вокруг на земле, она ищет пригодное для еды.

Тонкие травинки — это для нее, и насекомые, и затерявшиеся зерна.

Она клюет, она клюет без устали.

Время от времени она останавливается. Прямая под своим фригийским чепцом, с живыми глазками, с жабо на грудке, она слушает то одним, то другим ухом.

И, убедившись, что нигде нет ничего нового, она вновь занимается своим делом.

Переступая, она высоко поднимает свои широко расставленные лапки, как те, кто страдает ревматизмом. Она раздвигает пальцы и осторожно опирается на них, тихо, без шума.

Можно сказать, что она идет босиком.

ПЕТУХИ

I.

Он никогда не пел. Он ни разу не почесал в курятнике, не знал ни одной курицы.

Он сделан из дерева с одной железной ногой посреди живота, и годы и годы он живет на такой старенькой церкви, какую теперь никто даже не посмеет построить. Она походит на ригу для зерна, и ее кровля из черепицы вытянута по прямой, как бычья спина.

У другого конца церкви появляются маляры.

Деревянный петух хочет рассмотреть их, но сильный порыв ветра заставляет его повернуться спиной.

И каждый раз, когда он поворачивается, брошенный в него камень заслоняет горизонт.

Наконец, подняв голову, он замечает на верхушке колокольни, над которой закончили трудиться маляры, молодого петуха. Утром его еще не было.

Этот незнакомец держит высоко свой хвост, открывает клюв, как те, которые поют, крыло на бедре, весь совсем новый, он сверкает на солнце.

Сначала оба петуха сражаются в неподвижности, но старый деревянный петух быстро устает и сдается. Под его единственной ногой перекладина грозит падением. Он клонится неповоротливо, готовый упасть.

И тут появляются плотники.

Они обрубаят источенный червями угол церкви, достают петуха и прогуливают его по деревне. Каждый может потрогать его, выпрашивая в подарок.

Кто-то дает им яйцо, кто-то по одному су, а мадам Лорио — серебряную монету.

Плотники на радостях выпивают и, поспорив, кому забрать петуха, решают его сжечь.

Из соломы и хвороста они сооружают ему гнездо и поджигают.

Деревянный петух сверкает искрами, и его пламя поднимается в небо, которое он давно заслужил.

II.

Каждое утро дворовый петух, спрыгнув с насеста, прежде всего смотрит, там ли тот, другой, — и другой всегда там.

Петух может хвастаться, победив всех врагов на земле, но этот враг, сверх ожидания, непобедим.

Петух бросает вверх крик за криком: он зовет, он призывает, он угрожает, — но тот, другой, отвечает только в свои часы, а до этого не отвечает вовсе.

Петух красуется, вздувает перья, которые не так уж и плохи — эти синие, а эти серебристые, — другой светится лазурью и ослепительной позолотой.

Петух собирает своих кур и шагает во главе их. Смотрите — они все принадлежат ему, все его любят и все его побаиваются; но другого облюбовали ласточки.

Петух важничает, он оставляет тут и там свои знаки любви и издает пронзительный клич, просто так, без причины; но точно так же тот, другой женится на всех деревенских свадьбах, которые сопровождает летящий звон его колокольчиков.

Петух ревнует, он поднимает свои шпоры для решительного смертельного боя; его хвост — как складки плаща, скрывающего шпагу. С приливом крови в гребешке он вызывает на поединок всех петухов с небес, — но другой, который не испытывает страха перед бурными порывами, играет в это время с легким ветерком и поворачивается спиной.

И петух до конца дня испытывает отчаяние.

Куры возвращаются одна за другой. В потемневшем дворе он остается один, охрипший, но гордый, а другой еще сияет в последних лучах заходящего солнца и поет ему славу своим чистым звенящим голосом.

УТКИ

I.

Утка отправляется первая, переваливаясь с лапки на лапку, собираясь покрывать в яме, которую она знает.

Селезень следует за ней. Со скрещенными концами крыльев на спине, он тоже хромает на обе лапы.

Оба двигаются безмолвно, будто идут на деловую встречу.

Утка первая соскальзывает в воду, грязную, на которой плавают перья, помет, листок винограда и солома.

Она ждет. Она готова.

И селезень, в свою очередь, следует за ней в воду. В ней тонут его богатые краски. Видна только голова да завиток перьев на хвосте. Обоим здесь хорошо. Вода согревает. Ее никогда не спускают, она обновляется только в дни больших дождей.

Он своим плоским клювом покусывает и сжимает ее затылок. Он вздрагивает, но поверхность воды так густа, что лишь чуть

взволновалась — и, сразу успокоившись, гладкая, отражает на темной поверхности уголок чистого неба.

Оба больше не шевелятся. Солнце греет и усыпляет их. Пройдя мимо, можно даже их не заметить. Они дают знать о себе только лопающимися пузырьками воздуха на застоявшейся воде.

II.

Перед закрытой дверью птичника они спят оба, распластавшись и прижавшись друг к другу, как пара сабо соседки, навестившей больного.

ЦЕСАРКА

Это горбунья с моего птичьего двора.
Она поглощена жалобами на свой горб.

Куры ничего ей не говорят — неожиданно она бросается и расталкивает их.

Потом она опускает голову, наклоняет туловище и со всей скоростью своих тонких лапок мчится, чтобы ударить своим твердым клювом в самую середину индюшки.

Эта кокетка ее раздражает!

Так, со своей синей головкой, своими живыми усиками, солдатскими повадками, она злится с утра до вечера. Она дерется без причины, наверное, воображая, что все насмеются над ней за ее рост, за ее лысый череп и за ее низкий хвост.

И она не перестает издавать резкие крики, которые, как иголки, пронизывают атмосферу.

Иногда она покидает двор и исчезает. У мирных обитателей птичника передышка. Но возвращается она еще более возбужденная и крикливая. И, буйствуя, валяется на земле.

Что же с ней?

Скрытная, она разыгрывает комедию.

Она ходила снести свое яйцо в деревне.

Я могу пойти искать его, если меня это интересует.

ИНДЮШКИ

I.

Среди обитателей двора она так величественна, как будто живет при старом режиме.

Остальные из птичника только и знают, что клюют и едят целый день все что попало. Она же между своими размеренными по часам трапезами не занята ничем, кроме как выказывать свои достоинства. Ее перья туго сцеплены друг с другом, а острием крыльев она чертит полосу на земле, как будто обозначает дорогу, по которой следует: это именно туда она направляется и никуда больше.

Она так важничает, что никогда не смотрит на свои лапы.

Она никого не опасается и, когда я приближаюсь к ней, воображает, что я собираюсь ее восхвалять.

— Благородная индюшка, — говорю я ей, — если бы вы были гусыней, то я бы написал вам хвалу, как это сделал Буффон, одним из ваших перьев, но вы только всего индюшка...

Видно, я сильно досадил ей, так как кровь бросается ей в голову. Гроздя гнева свисают из клюва. Она выходит из терпения. С сухим треском она распускает веер своего хвоста: эта старая bestия повернулась ко мне спиной.

II.

Здесь на дороге еще целая группа индюшек.

Каждый день, какая бы ни была погода, они прогуливаются.

Они не опасаются ни дождя — никто не одет лучше, чем индюшки, — ни солнца — ни одна из них никогда не выходит без собственного зонтика.

ГУСЫНЯ

Как все деревенские девушки, Тинетта тоже хотела бы поехать в Париж. Но, может быть, она только и способна, что сторожить своих гусей?

По правде говоря, она скорее следует за ними, чем их погоняет. Она вяжет машинально, идя позади их стада, и относится с уважением к гусыне из Тулузы, у которой есть все права считать себя весьма значительной особой.

Гусыня из Тулузы знает дорогу ко всем хорошим травам и знает время возвращения домой.

Более храбрая, чем сам гусак, она защищает своих сестер от злой собаки. Ее шея тогда дрожит и извивается, как земляная крыса, потом она встряхивается, явно одержав верх над перепуганной Тинеттой. Как только все успокаивается, она торжествует и всем своим видом показывает, кому все обязаны восстановленным порядком.

Она не сомневается, что может достичь большего.

И однажды вечером она покидает свои места. Она шествует по дороге, клюв по ветру, с прижатыми крыльями. Женщины, мимо которых она идет, не осмеливаются остановить ее. Она шагает быстро, внушая всем страх.

И пока Тинетта, оставшаяся на месте, выходит из задумчивости и, похожая сама на гусыню, не может объяснить происходящего, гусыня из Тулузы приходит в Париж.

ГОЛУБИ

Как они производят над домом шум
приглушенных барабанов;

Как они, толкаясь, гурьбой появляются
из тьмы, вспыхивают на солнце и возвраща-
ются в тень;

Как их быстро сжимающаяся шея ожи-
вает и умирает, как опал на пальце;

Как засыпают они вечером в лесу, так
что самая высокая ветка дуба грозит обло-
миться под тяжестью этого будто нарисован-
ного фрукта;

Как эти двое обмениваются неистовыми
поклонами и вдруг неожиданно начинают
судорожно корчиться;

Как вот этот возвращается после изгна-
ния с письмом и летит, как сама мысль на-
шей далекой подруги (А! Будет награда!);

Все эти голуби, которые сначала забавля-
ют, в конце концов нам надоедают.

Они не умеют оставаться на одном мес-
те, а их передвижение и полет никак не
оформлены.

И всю жизнь они остаются немного глу-
пыми. Они упорно верят, что их дети дела-
ются клювом.

И невозможно выносить без конца их
врожденную привычку что-то перекачивать в
горле, что не проглатывается.

Два голубя: Приди, мой гррро... Приди,
мой гррро, грро...

ПАВЛИН

Он непременно женится сегодня.

Это должно было произойти вчера. В парадном одеянии он был готов. Он только ждал свою невесту. Она не пришла. Но она не может надолго задержаться!

Победоносный, он прогуливается с видом индийского принца и несет на себе богатые признаки своего достоинства.

Любовь оживляет блеск его красок и его панаш — букет перьев дрожит, как лира.

Невеста не приходит.

Он поднимается наверх, на крышу, и смотрит в сторону солнца. Он посылает туда свой дьявольский крик:

— Леон! Леон!

Это так он призывает невесту. Никого не видно и никто не отвечает. Привыкшие к нему, птицы в курятнике даже не поднимают головы. Они устали любоваться им. Он спускается во двор. Уверенный в своей красоте, он не держит на них зла.

Его свадьба обязательно состоится завтра.

И, не зная, чем занять остаток дня, он направляется к перрону. Он преодолевает его ступени, как ступени храма, торжественной поступью.

Он расправляет тяжелый хвост, поддерживая им прекрасный шлейф своего наряда, и его глаза не могут от него оторваться.

Он повторяет еще раз всю церемонию.

ЛЕБЕДЬ

Он скользит по воде, как белоснежные сани, от облака к облаку. Он испытывает голод только к этим пушистым облакам.

Он видит — они рождаются, двигаются и теряются в воде так же, как и на небе.

Его влечет к одному из них.

Он прицеливается клювом и внезапно погружает в воду свой воротник, одетый в снег. Затем, подобно женщине, которая вынимает руку из рукава, он быстро извлекает его оттуда.

Там ничего нет!

Он смотрит: неприступные облака исчезли. Он остается разочарованный, но только на один момент, так как облака не замедлят возвратиться, и там, где замирает волнение воды, вот уже одно возникает снова.

Осторожно, на своей мягкой подушке из перьев, лебедь гребет и подплывает...

Он устает, вылавливая бесполезные отражения; может быть, он умрет, став жертвой этой мечты, раньше, чем сумеет поймать хоть один кусок этого облака.

Но что это я говорю? Он жиреет, как гусь!

СОБАКА

В эту непогоду нельзя выставить из дома Острика, а резкий порыв ветра из-под двери вынуждает его даже покинуть соломенную подстилку, он ищет лучшего места и проскальзывает своей милой узкой головой между нашими стульями. Но мы-то сидим, склонившись над огнем очага, тесно прижавшись локтями, и я даю Острику хороший шлепок. Отец отталкивает его ногой. Мама посылает ему ругательство. Моя сестра угощает его пустым стаканом.

Острик чихает и уходит на кухню посмотреть, нет ли там кого-нибудь из нас.

Потом он возвращается, прорывает наш тесный круг, рискуя быть раздавленным нашими коленями, и вот он уже у самого угла очага. После нескольких поворотов — поиск удобного места — он усаживается возле каминной решетки для дров и больше не двигается. Он смотрит на своих хозяев такими любящими, ласковыми глазами, что снисходительность побеждает, его прощают. Но пока от почти раскаленного дубового угла летит горящая сажа, обжигая ему зад.

Все же он остается сидеть.

Ему открывают дорогу.

— Давай же, лезь! Ну, ты и глупый!

Он упорствует. Зубы собаки больше не стучат от холода, Острику тепло. Раскалившаяся шерсть на задке жжет, ему порядком досталось, но он сдерживается, не воет, он открывает, как в улыбке, свою желтую пасть и смотрит глазами, полными слез.

СОБАКИ

По ту сторону канала две собаки переплелись друг с другом — а мы, Глориетта и я, не можем не видеть их с нашей скамейки: вот спектакль, странный, смешной и болезненный одновременно. Он не заканчивается, когда перед нами появляется Курсель. Он гнал своих овец по краю канала и нес на плече полено, припасенное на зиму.

Заметив, что одна из собак принадлежит ему, он хватается за холку, опустив не спеша полено на вторую собаку.

Но животные не бросают друг друга — и Курсель посреди своих остановившихся овец бьет уже сильнее; слышатся удары по хребту.

— Бедное животное! — говорит побледневшая Глориетта.

— Вот, — говорю я, — так с ними обращаются в наших краях, и это еще странно, что Курсель не бросает их в воду. Вода действовала бы быстрее.

— Какая грубая скотина, — говорит Глориетта.

— Да нет, этот Курсель хороший миролюбивый парень.

Глориетта сдерживает крик, я сочувствую ей, но я уже привык.

— Прикажи ему перестать, — говорит Глориетта.

— Он далеко и меня не услышит.

— Встань, пошли ему какие-нибудь знаки!

— Если он поймет, то ответит, даже не рассердясь. Разве можно оставлять собак в таком положении!

Глориетта смотрит, вся побелевшая, губы приоткрыты, а Курсель бьет по-прежнему по избитой собаке.

— Это становится невыносимо жестоким. Хочешь, лучше я уйду? — говорит Глориетта, не стерпев стыда. — Ты сумеешь сильнее восстать против этого презренного негодяя!

Я сам не мог решить, что ответить. Что-то вроде того: «Это же в наших простонародных обычаях!» Но как раз последний удар поленом, который мог убить их, разбеднил двух животных. Курсель, поступив-

ший, как и должен был, погнал своих овец к деревне. Собаки, свободные, некоторое время оставались рядом. Они вертелись, осрамленные, вокруг себя, еще связанные воспоминаниями.

ДЕДЕШ УМИРАЕТ

Это был маленький грифон — песик, принадлежавший Мадемуазель, нашей гувернантке, — и мы все его любили.

У него был дар закутываться во что-нибудь где угодно, даже на столе, казалось, он спит в глубине гнезда.

Он понял, что облизывание язычком становится нам неприятно, и стал ласкать нас лапкой по щеке, мягко, осторожно. Достаточно было только уберечь глаза.

Он смеялся. Долго были уверены, что это просто попытка чихнуть, но право же, это был смех.

Хотя у него не наблюдалось глубоких огорчений, он умел плакать, вообще говоря, ворчать горлышком, с чистыми капельками воды в уголках глаз.

Бывало, что он пропадал и возвращался домой самостоятельно и так деликатно, что к нашим приветствиям мы старались прибавить что-нибудь уважительное.

Конечно, он не разговаривал, несмотря на наши усилия. Бесполезны были слова Ма-

демуазель: «Если бы ты заговорил, хоть совсем чуть-чуть!»

Он смотрел на нее, дрожа, удивляясь так же, как она сама. Хвостиком он делал разные выразительные движения, он раскрывал челюсти, но без лая. Он догадывался, что Мадемуазель ожидает большего, чем просто лай, как будто его слово, которое было в сердце, готово было подняться до языка и зубов. Он дошел бы до этого, просто еще не дорос по возрасту.

Как-то в деревенский бездунный вечер, когда Дедеш искал себе друзей на краю доюрги, большой пес, которого никто не знал, скорее всего, принадлежащий браконьеру, схватил этот легкий шелковый комочек, тряс его, сжимал, отбросил и удрал.

Ах! Если бы Мадемуазель могла схватить этого лютого пса, перегрызть ему горло, повалить, задушить в пыли!

У Дедеша зажили раны от укусов, но осталась мучительная слабость в пояснице, почках.

Он стал писать непрерывно, повсюду. Вне дома он, как насос, делал это без оста-

новки, сколько мог, радуясь освободить нас от хлопот, а возвратясь домой, не сдерживал себя. Как только кто-нибудь отворачивался, он поворачивал к ножке мебели, и Мадемуазель посылала обычный слезный крик: «Губку! Воду! Серу!»

Уже сердясь, ругали его страшным голосом, делали угрожающие жесты, которыми его не трогали, его выразительный взгляд отвечал нам: «Я знаю, но что же могу сделать?»

Он оставался милым и ласковым, но порой извивался, как будто чувствовал на себе зубы браконьерской собаки.

А потом запах стал докучать даже посторонним.

Даже сердце Мадемуазель затвердело!

Дедеша надо было умертвить.

Казалось, это очень просто. Надо сделать надрез в кусочке мяса, в него всыпать порошок винно-каменной кислоты и цианистого калия и сшить тонкой нитью. Сначала надо дать первый невинный кусочек так, для смеха, потом настоящий. Животик сработает, и два порошка вместе дадут реакцию, которая срывает животное.

Я не хочу больше вспоминать, кто из нас давал шарики.

Дедеш ждал, лежа спокойно в своей корзиночке, и мы тоже ждем, мы слушаем из соседней комнаты, обессиленные, как пережившие ужасную усталость.

Проходит четверть часа, полчаса. Кто-то тихо говорит:

— Я пойду взглянуть.

— Еще пять минут.

Наши уши взбудоражены. Может, вост собака где-то далеко, собака браконьера?

Наконец, самый храбрый из нас удаляется и возвращается назад, говоря голосом, которого никто не узнаёт:

— Все кончено!

Мадемуазель падает на постель и рыдает. Ее плач уступает место дикому смеху, каким смеются, когда вовсе не хочется смеяться.

Она повторяет, уткнувшись лицом в подушку:

— Нет, нет, сегодня утром я не стану пить мой шоколад!

А маме, которая говорит ей о замужестве, она шепчет, что останется старой девой.

Все остальные удерживают слезы. Все чувствуют, что еще будут плакать и каждый новый повод вызовет и новые слезы.

Они говорят Мадемуазель:

— Глупенькая, это ведь ничего не значит!

Почему ничего не значит? Это была жизнь! И мы не сможем узнать, куда ушла она, которую мы только что отменили.

От стыда, чтобы не сознаться, что смерть маленькой собачки в нас все перевернула, мы думаем о людях, тоже ушедших, о тех, кого можно потерять, обо всем загадочном и необъяснимом, где тьма и холод.

Виновник говорит себе: «Я совершил убийство через предательство».

Он поднимается и осмеливается посмотреть на свою жертву. Позже мы узнаем, что он поцеловал маленький, теплый и нежный лобик Дедеша.

— У него открыты глаза?

— Да, но глаза стеклянные, ничего не видящие.

— Он не страдал перед смертью?

— О! В этом я уверен.

— Совсем не отбивался?

— Он только вытянул лапку к краю корзинки, совсем так, как отдавал ее в твою маленькую ручку.

КОТ

I.

Мой кот не ест мышей. Он их не любит. Он ловит их только чтобы поиграть. Когда наиграется, он отпускает их на свободу и уходит куда-нибудь развлечься или помечтать; не чувствуя за собой никакой вины, он располагается на своем свернутом в кольцо хвосте с головой, собранной, как сжатый кулак.

Но от его когтей мышья уже мертва.

II.

Ему говорят: «Хватай мышей и оставь в покое птиц!»

Это более тонкая работа, требующая проворства, и самый ловкий кот иногда ошибается.

КОРОВА

Мы устали придумывать — решено было вовсе не давать ей имени. Она называется просто «Корова», и это прозвище подходит ей лучше всех.

К тому же, не все ли равно? Лишь бы она ела!

Так, свежая трава, сухое сено, овощи, зерно, хлеб и соль, всё ей по вкусу, и она ест все время и даже по два раза, так как отгрызает жвачку.

При виде меня она подбегает мелким легким шагом, как бы постукивая деревянными башмаками на ногах, и обтягивающая их кожа — как белые чулки; она уверена, что я несу ей что-нибудь съестное, — и, любуясь ею каждый раз, я не могу не сказать: «Возьми, скушай!»

Но из всего, что она поглощает, она делает молоко, а вовсе не жир. В заведенное время она предлагает нам свое вымя, полное, разбухшее; она не придерживает молоко — так делают некоторые коровы, — она охотно из всех четырех эластичных сосков, чуть тро-

нешь их рукой, отдает весь запас. Она не шевелит ни ногой, ни хвостом, но забавляется, полизывая спину работницы своим огромным и гибким языком.

Несмотря на одинокое житье, аппетит не дает ей скучать. Редко в ее мычании можно уловить жалобу на туманные воспоминания о последнем теленке. Но она любит гостей, всегда расположенная к ним, со своими рогами, поднятыми над лбом, своими вытянутыми к лакомству губами, из которых свисают ниточка воды и травинка.

Мужчины, которые ничего не боятся, поглаживают ее отвислый живот; женщины, удивленные, что такая огромная скотина может быть такой нежной, все же недоверчивы к ее ласкам и мечтают о настоящих.

Она любит, когда я почесываю ее между рогами. Я немного отхожу назад, потому что она от удовольствия придвигается ко мне, и я доставляю радость этому большому доброму животному, пока не замечаю, что наступил ногой в навоз.

СМЕРТЬ ЧЕРНУШКИ

Филипп, который будит меня, говорит, что вставал ночью и дыхание было спокойное. Но с этого утра она его беспокоит.

Он дает ей сухое сено — она его не берет.

Он предлагает немного свежей травы, и Чернушка, обычно жадная до нее, чуть трогает. Она больше не оглядывает своего теленка и плохо переносит толчки его носа, когда он, чтобы пососать, опирается на свои еще подгибающиеся ножки.

Филипп отводит теленка и привязывает подальше от матери. У Чернушки вид безразличный.

Беспокойство Филиппа захватывает всех нас. Дети и то хотят подняться рано.

Приезжает ветеринар, осматривает Чернушку и выводит ее из хлева. Она прижимается к стене и к балке двери, она сейчас упадет, надо ее вернуть.

— Она очень больна, — говорит ветеринар.

Мы не смеем спросить, что у нее.

Он опасается молочной лихорадки, часто безнадежной, особенно у коров с большим удоем, и вспоминает одну за другой с таким заболеванием, думали —безнадежным, которых он спас. Он намазывает каким-то составом вымя Чернушки. *Это новое средство из Парижа. Если процесс не дойдет до мозга, она оправится от болезни сама, если нет, я применю лед.* Это удивляет крестьян, но я-то знаю, с кем говорю.

— Делайте, что нужно.

Чернушка, лежа на соломе, еще может выдерживать тяжесть своей головы. Она не перестает постанывать. Ей кажется, она задерживает дыхание, чтобы лучше слышать, что происходит у нее внутри.

Ее покрывают куском холста, потому что рога и уши холодеют.

— Пока уши не упадут, — говорит Филипп, — есть еще надежда.

Два раза она, хоть и с трудом, поднялась на ноги. Она громко дышит, но интервалы все реже.

И вот ее голова не удерживается и падает на левую сторону.

— Это уже хуже, — говорит Филипп, нагнувшись, он шепчет ей что-то ласковое.

Голова приподнимается и прислоняется к борту кормушки так тяжело, что глухой стук вызывает у нас вскрик: «Ой!»

Мы подкладываем под Чернушку кучу соломы, чтобы она не задыхалась.

Она тянет шею и лапы, она вытягивается во всю длину, как на лугу в грозовые часы.

Ветеринар решает пустить кровь. Он не приближается к ней, он такой же знаток, как другие, но показывает, что вовсе не торопится. При первом ударе деревянного молотка ланцет скользит по вене, после более удачного — кровь устремляется в оловянное ведро — мы привыкли, что оно наполняется до краев молоком.

Чтобы остановить поток, ветеринар вкалывает в вену стальную булавку.

Затем мы покрываем Чернушку, которой стало немного легче, со лба до хвоста мокрым холодным покрывалом, все время отжимаем его, потому что оно быстро согревается. Она даже не дрожит. Филипп держит ее за рога и не дает голове падать и ударяться о левый бок кормушки.

Чернушка, недвижимая, успокоенная, больше не шевелится. Никто не знает, улучшилось или ухудшилось ее состояние.

Нам грустно, но грусть Филиппа угрюмая и задумчивая, как у животного, наблюдающего страдания другого. Его жена приносит еще утреннюю порцию супа, которую он ест без аппетита и не доедает.

— Это конец, — говорит он. Чернушка распухает. Мы не верим, но Филипп говорит правду — она распухает на глазах, вошедший воздух из нее уже не выходит.

Жена Филиппа спрашивает: «Она что, умерла?»

— Ты что, не видишь! — отвечает он жестко.

Мы стараемся поверить, что происшедшее более раздражило нас, чем огорчило, и мы уже говорим, что Чернушка «околела».

Но в этот вечер я встретила церковного звонаря и не знаю, что остановило меня, чтобы сказать ему:

— Вот сто су, возьми и позвони в похоронный колокол за того, кто умер в моем доме.

БЫК

Рыбак с летящей удочкой в руке идет берегом Ивонны и заставляет свою наживку, зеленую муху, подпрыгивать по воде.

Зеленые мухи, он их ловит на стволах тополей, отполированных почесыванием животных.

Он забрасывает удочку сильным движением и вытягивает со знанием дела.

Ему представляется, что каждое новое место будет лучшим, и вскоре он покидает это, перешагивает через лестницу нового луга и переходит на другой.

Внезапно, переходя большой горячий на солнце луг, он останавливается.

Там, в самой середине мирно лежащих коров, тяжело поднимается бык.

Это знаменитый бык, его рост и мощь торса удивляют всех, проходящих по дороге. Им любуются на расстоянии, ведь ему ничего не стоит своими рогами стремительно подбросить проходящего до самого неба. Он может быть нежнее ягненка, если захочет, и может впасть в неудержимую ярость, если

его заденут, и рядом с ним никогда не знаешь, что может произойти.

Рыбак настороженно наблюдает.

«Если я побегу, — думает он, — бык схватит меня раньше, чем я перебегу луг. Если я, не умея плавать, брошусь в воду, то утону. Если я притворюсь мертвым, распластавшись на земле, бык понюхает меня и не тронет. Наверняка ли будет так? А если он не уйдет, какой ужас! Лучше изобразить обманчивое безразличие».

И рыбак со своей летящей удочкой продолжает удить.

ВОЛ

Этим утром, как обычно, дверь открывается и Кастор, не споткнувшись, покидает хлев. Он пьет медленными глотками со дна чана и часть оставляет запоздавшему Поллуксу. Затем, со стекающими с морды каплями, как дерево после полива, он идет охотно, грузно и привычно занять свое обычное место под ярмом телеги.

Рога связаны, голова неподвижна, он вздувает живот, хвостом лениво отгоняет черных мух, а заодно и сонную работницу с метлой в руке, жует свою жвачку и ждет Поллукса.

Но по двору бегают чем-то занятые слуги, кричат, ругаются, и собака визжит, как при приближении чужака.

Неужели послушный Поллукс впервые протестует против палки с железным накопником, вертится, толкает в бок Кастора, пускает пары и, хоть уже в упряжке, старается еще раскатать общее ярмо?

Нет, это другой!

Кастор в незнакомой паре останавливает свои челюсти, когда видит около своего этот взволнованный глаз, взгляд которого не узнает.

На закате солнца, которое опускается, волны медленным шагом тянут по луку легкую борозду своей тени.

ВОДЯНЫЕ МУХИ

Только один огромный дуб стоит на самой середине луга, и быки занимают всю возможную тень от его листвы.

Опустив головы, свои рога они подставляют солнцу.

Все было бы хорошо, если бы не мухи.

Но сегодня, правда, они пожирают особенно беспощадно.

Острые и многочисленные черные прилипают клейкой массой и жалят в глаза, в веки, даже в уголки губ, а зеленые высасывают остатки из последних укусов.

Когда один из быков шевелит свой кожанный фартук или стучит по земле своим сабо, облако мух перемещается с легким рокотом, можно сказать, плотно слитой массой.

Стоит такая жара, что старухи у своих дверей уже вдыхают грозу, и они даже немного подшучивают:

«Горе Бурдuru — жужжащим мухам», — говорят они.

Там где-то летящая стрела, похожая на первый взмах копий, пронизывает небо, но еще без шума. Падает капля дождя.

Предупрежденные уже быки поднимают головы, прижимаются к стволу дуба и дышат спокойно, терпеливо.

Они знают: сейчас хорошие мухи примутся изгонять плохих.

Сначала редко, одна за другой, затем сгрудившись все вместе, они рухнут с неба на своих врагов, кромсая и уничтожая их — а те уступают понемногу, разделяются, светлеют и рассеиваются.

Вскоре от курносых носов до хвостов всегда неизменные быки, счастливые, в потоках воды разгуливают на ветру под победной тучей водяных мух.

КОБЫЛА

Перевозка сена в разгаре. Сарай, сеновалы утрамбованы до железных кровель. Мужчины и женщины спешат, потому что время угрожает: если пойдет дождь, намочит готовое сено, оно потеряет цену. Все повозки на колесах: одну нагружают, пока лошади уже подвозят другую к ферме. Уже наступает ночь, но езда в обе стороны еще продолжается.

Кобылка-мать ржет в своих оглоблях. Она отвечает своему малышу, который зовет — он весь день провел на лугу без питья.

Она понимает, что скоро конец, что она сейчас подбежит к нему, — и тянет цепь, как будто запряжена только одна. Повозка останавливается у сарая. Ее распрягают, и свободная кобылка-мать шла бы тяжелой поступью к барьеру, откуда малыш уже тянет к ней свою мордочку, если бы ее не остановили, потому что надо вернуться обратно и отвезти последнюю повозку.

КОНЬ

Он некрасив, мой конь.

У него избыток узлов и впадин, впадые бока, хвост крысиный и передние зубы англичанина.

Но он меня трогает. Я не возражаю, чтобы он оставался служить мне и безропотно позволял вертеть им, как мне угодно.

Каждый раз, когда запрягаю его, я ожидаю, что он резким кивком скажет мне «нет» и вырвется.

Ничего подобного. Он опускает и поднимает свою крупную голову, будто хочет для храбрости надеть шляпу, и покорно отступает между оглоблями.

Поэтому я не жалею для него ни овса, ни маиса, я расчесываю ему гриву, я заплетаю его тонкий хвост, я ласкаю его рукой и голосом, я промываю ему глаза, массирую его ноги.

Трогает ли это и его?

Никто не знает!

Он ржет.

Я люблюсь им главным образом тогда, когда он прогуливает меня в коляске. Я подхлестываю его, он прибавляет ходу. Я останавливаю его, и он останавливает меня. Я тяну повод влево, и он косит тоже влево, вместо того чтобы идти вправо и сбросить меня в яму, да еще кое-где под ударами сабо.

Он заставляет меня пугаться, он заставляет меня стыдиться, и он вызывает у меня жалость.

Но может ли он очнуться, наконец, от своей дремоты и, заняв мысленно мое место, поставить меня на его собственное?

О чем он думает?

Он ржет, он ржет, он ржет.

ОСЕЛ

I.

Ему все безразлично. Каждое утро он, переступая маленьким сухим и неспешным шагом чиновника, тянет повозку почтальона Жако, который развозит по деревне заказы, сделанные в городе, сладости, хлеб, мясо от мясника, какие-нибудь журналы, письма.

Закончив объезд, Жако и осел работают на себя. Повозка служит коляской. Они отправляются вдвоем на виноградники, в лес, за картошкой. Они привозят то овощи, то зеленый веник, одно, другое — день на день не приходится.

Жако не перестает понукать: «Ну же, ну же», без особой надобности, будто похрапывая. Иногда осел из-за репейника, который он обнюхивает, или от какой-то пришедшей на ум мысли останавливается. Жако обхватывает его шею и толкает. Если осел сопротивляется, Жако покусывает ему ухо.

Они едят в какой-нибудь канаве, хозяин — ломоть хлеба и луковицу, животное — что захочет.

Они не вернутся раньше ночи. Их тени медленно ползут от дерева к дереву.

Внезапно гладь безмолвия и тишины, в которые уже погрузились и засыпают окружающие предметы, рвется испуганно и смущенно.

Это какая же хозяйка в такой поздний час тянет из своего колодца ведра, полные воды, ржавой и скрежещущей лебедкой?

Это осел, который подходит и посылает всем свой зычный голос и орет до изнеможения, что ему на все наплевать! Что ему на все наплевать!

II.

Кролик, ставший взрослым.

СВИНЬЯ

Ворчливая, но дружелюбная, если бы мы держали тебя при себе, ты лезла бы своим носом повсюду, и ты бы ходила с ним ровно столько же, сколько со своими лапами.

Ты прячешь под ушами, похожими на свекольные листья, свои маленькие глазки-смородинки.

У тебя большой живот, как орех с колючего орешника-Макаро.

У тебя такие же волосы, длинные, как у него, и как у него светлая кожа и твой маленький хвостик закручен в колечко.

И злые языки называют тебя: «Грязная свинья!»

Они говорят, что если у тебя ни от чего нет отвращения, то ты вызываешь отвращение у всех, и что ты любишь только воду от мытья жирной посуды.

Но они клеветают.

Пусть тебя отмоют, тогда и вид у тебя будет отличный.

Ты пренебрегаешь их ошибками.

Какую бы ни сделали тебе постель, ты в нее ляжешь, и неряшливость — это только твоя вторая натура.

СВИНЬЯ И ЖЕМЧУЖИНЫ

Стоит только оставить ее на лугу, свинья сразу принимается за еду, и ее рыло больше не отрывается от земли.

Она не выбирает тонких трав, она набрасывается на первые попавшиеся и, не разбирая пути, двигает вперед, как лемех или как слепой крот, свой неустанный нос.

Она ничем другим не занимается, кроме округления своего живота, который принимает уже форму кадки для солений, и уходящее время не вызывает у нее никаких забот.

Какое значение имеет, что ее шерстка может загореться в часы полуденного припека, и также не имеет значения, что сейчас это тяжелое облако наполняется градом, выставляет его напоказ и обрушивает на луг.

Сорока спасается, по правде говоря, в привычном полете, индюки прячутся в изгороди и малыш-цыпленок находит пристанище под дубом. Но свинья остается на том месте, где занимается едой.

Она не потеряет ни одного глотка.

Она не шевелит с меньшим удовольствием хвостом.

Все покрытое градом вызывает ее чуть слышное ворчание:

– Опять их грязные жемчужины!

БАРАНЫ

Они возвращаются со сжатых полей, где с утра они паслись с носами, вытянутыми вниз, в тень их тел.

По знаку ленивого пастуха, всегда готовая, послушная ему собака бросается на стадо с нужной стороны.

Она ведет стадо весь путь волнами через впадины и канавы и идет с края, собрав их, слившись с ними, спокойно и мягко переступая по земле шажками старых женщин. Когда она переходит на бег, топающие лапы издают звук колеблющегося тростника и поднимают клубы дорожной пыли, подобные пчелиному рою.

Один баран с длинной завитой шерстью вдруг делает прыжок, будто заброшенный в воздух тюк, и его уши дрожат от удовольствия.

Другой ведет себя буйно и бьет коленом свою голову, неудобно опущенную вниз.

Они заполняют деревню. Можно подумать, что сегодня их праздник и на улицах они дерзко блеют от радости.

Но в деревне они не останавливаются, и я разглядываю их появление там, дальше. Они достигают горизонта. С легкостью поднимаются они по холму к солнцу.

Они приближаются к нему и укладываются, но не вплотную друг к другу.

Отставшие рисуют на фоне неба последние неожиданные движения и присоединяются к сгрудившемуся стаду.

Еще выделяется какой-то клок, его взмах, белая пена, запах, дыхание — и больше ничего.

Видна сверху только чья-то лапа, она вытягивается, она вертится, как прялка, в бесконечности.

Курчавая шерстяная масса баранов засыпает вокруг усталого солнца, которое уже, сняв свой нимб, до завтрашнего дня оставляет в их шерсти острия своих лучей.

* * *

Бараны: Ме-е... Мее... Мее...

Собака пастуха: Никаких мее!

КОЗА

Никто не читает официального сообщения из журнала, лист которого наклеен на стене мэрии.

Кроме козы, конечно.

Она вытягивается на задних ногах, опирается передними на нижнюю часть афиши, двигает рогами и бородой и качает голову направо и налево, как старая дама во время чтения.

Окончив чтение, эту бумагу, так славно пахнущую свежим клеем, коза съедает.

Ничто не должно пропадать в нашем обществе.

КОЗЕЛ

Ему предшествует его запах. Запах уже здесь, когда самого козла еще не видно.

Он выступает впереди всего стада, и козы следуют за ним смешанной толпой в облаке пыли.

У него длинная и сухая шерсть, которую полоса на его спине разделяет пополам.

Он гордится не столько своей бородой, сколько своим ростом: у козы ведь тоже есть борода!

Когда он проходит, одни затыкают нос, другим нравится этот аромат.

Он не смотрит ни направо, ни налево; он идет прямо, остроухий и короткохвостый. Если люди и наделили его своими грехами, он ничего об этом не знает, и он относится серьезно только к падению непрерывного ряда шариков помета.

Александр — это его имя, известное даже собакам.

Кончается день, исчезает солнце, он возвращается в село с косарями, и его рога, заостренные старостью, принимают постепенно форму серпа.

ЗАЯЦ

Я оборачиваюсь. Филипп, остановившись, взгляд прикован к одной точке, с поднятым ружьем, стоит наготове.

— Вы его видите? — говорит он.

— Где же?

— Вы не видите его глаза, который мигает?

— Нет.

— Вот здесь, между вами.

— В меже?

Как же я стараюсь протереть глаза от пыли! Филипп, побледневший от удара в сердце, который он испытал, заметив зайца, повторяет:

— Вы его не видите? Неужели вы его не видите?

И у него дрожат руки. Он боится, что заяц уйдет.

— Покажите его мне, — говорю я, — в прицеле вашего ружья.

— Держите. Вот глаз, его глаз прямо на мушке.

— А! Я ничего не вижу! Цельтесь сами, Филипп, берите его на мушку.

Я становлюсь за спиной Филиппа, но даже на линии положения его ружья я его не нахожу!

Это невыносимо!

Я что-то различаю, но это не может быть зайцем; это кучка земли, желтая, как вся поверхность жнивья. Я ищу глаз. Нет никакого глаза. Я еле сдерживаюсь, чтобы не сказать Филиппу:

— Все равно, стреляйте.

И собака, которая бегала уже далеко, возвратилась к нам. Она не чует зайца, потому что сейчас нет ветра, но она наготове броситься в любом направлении. Филипп тихими словами удерживает ее от рычания и толкает ногой, чтобы она не шевелилась.

Филипп больше не обращается ко мне, он и так сделал невозможное, и ждет, что я, наконец, очнусь от бездействия.

— О! Этот глаз! Черный, круглый и выпуклый, как небольшая слива, этот глаз перепуганного зайца, где он?

А! Я его вижу!

С моим выстрелом заяц подскакивает из укрытия с разбитой головой, и это имен-

но тот заяц, которого я видел. Я заметил его почти сразу, у меня хорошее зрение. Меня обмануло только положение зайца. Я представлял его комочком, как щенка, и я искал глаз в комочке. Но заяц прячется вытянутым, со скрещенными передними лапками и с прижатыми ушами. Он делает ямку только чтобы спрятать свой зад, стать похожим на крысу из жнивья. Зад здесь, глаз там, на большом расстоянии. Отсюда и мое короткое замешательство.

— Это позорно, убивать лежачего зайца, — говорю я Филиппу. — Мы могли бросить в него камень, заставить прыгнуть — и стреляли бы оба, он бы не ускользнул от нас.

— Это будет в следующий раз, — говорит Филипп.

— Я благодарен, что вы мне показали его, Филипп, таких, как вы, охотников, найдется немного.

— Я не сделал бы этого для всех, — говорит Филипп.

КРОЛИКИ

Занимая половину бочки, Ленуар и Легри с лапками, спрятанными под шубкой, поглощают еду, как коровы. У них только один обед, который длится целый день.

Если запаздывают бросить свежую травку, они дожевывают прежнюю до самого корня, да и над самым корнем будут работать их зубы.

Неожиданно к ним может попасть пучок салата. Оба, Ленуар и Легри, возьмутся за него не сразу, после. Нос к носу они напрягают все свои силы, качая головой и дрожа ушами.

Когда же останется только один листок, они его возьмут, каждый за свой конец, и начнется борьба на скорость.

Вы можете подумать, что они играют, если они не смеются, и что проглоченный листок братской лаской соединит их мордочки.

Но Легри почувствовал, что слабеет. Со вчерашнего дня у него огромный живот, и даже немного воды его вздувает. Правда же,

он слишком переполнился. Листик салата вообще-то пройдет, даже если ты не голоден, но он больше не может. Он отпускает листок и ложится рядом со своим пометом; короткие судороги.

Вот он, строгий, с распростертыми по сторонам лапками, как для рекламы оружейника: «Убиваю на месте!», «Убиваю издалика!».

На один миг Ленуар с удивлением останавливается. Сидя, он похож на подсвечник, чуть дышит, губы сжаты, у глаза красный ободок.

У него вид кудесника, проникающего в тайну.

Поднятые прямые два уха указывают на последний смертный час.

Потом они снова опускаются.

И он доедает лист салата.

ЯЩЕРИЦА

Нить, произвольно повторяющая трещину камня, к которому я прислонился. Она взбирается на мое плечо. Ей кажется, что я продолжаю стену потому, что я остаюсь неподвижным, и потому, что мое пальто продолжает цвет стены. Мне это даже лестно.

* * *

Стена: Не пойму, что за дрожь чувствую на моей спине.

Ящерица: Это я!

ЗЕЛЕНАЯ ЯЩЕРИЦА

— Берегитесь, она окрашена!

УЖ

Из какого это живота может появиться такое количество изгибов, целый тук!

ЕЖ

Уберите ваше «Пожалуйста».

Надо принимать меня таким, каков я есть, и не слишком меня сжимать.

ЛАСКА

Скромная, чистая, благо нравная, она маленькими скачками взад и вперед передвигается по дороге. Переходит из одной канавы в другую, давая в каждой из ямок уроки прятков, укрытия от опасности.

ЗМЕЯ

I.

Слишком длинная.

II.

Десятимиллионная часть четверти
земного меридиана.

ЧЕРВЬ

Вот уж кто сплющивается и растягивается, как хорошо разваренная лапша.

ЛЯГУШКИ

Резкими прыжками к ручью они развивают свои рессоры.

Они выпрыгивают из травы, как тяжелые капли поджаренного масла.

Они рассаживаются, как пресс-папье из бронзы, на широких листьях водяных лилий.

Одна из них раздувается, наполняется воздухом. Можно положить монетку в одно су через ее рот в копилку ее живота.

Они поднимаются из ила, как вздохи воздуха, выходящие из болота.

Неподвижные, с огромными водянистыми глазами, они кажутся надутой опухолью на плоской поверхности болотистой топи.

Сидящие, как вырезанные из дерева или мрамора, чем-то удивленные, они зевают при заходящем солнце.

Потом вдруг, как продавцы газет, оглушающие улицы, они кричат, сообщая всем последние новости дня.

Сегодня вечером у них ожидается большой прием; вы уже слышите, как звенят их бокалы?

То и дело они хватают насекомое.

А другие только и делают, что занимаются любовью.

И все они искушают рыбака с удочкой.

Я с легкостью ломаю жердь. К моему пальто приколоты булавка, которую я загибаю, чтобы сделать крючок. В веревке у меня тоже нет никогда нужды.

Но мне нужен бы еще матерчатый лоскуток, кусочек чего-нибудь красного.

Я ищу на себе, на земле, на небе и не нахожу ничего, — и я печально смотрю на мою пустую бутоньерку, совсем готовую, которую без упрека можно было бы не спеша украсить красным бантом.

ЖАБА

Рожденная камнем, она живет под камнем и тут же выроет себе могилу.

Я часто ее навещаю, и каждый раз, что я поднимаю ее камень, я боюсь обнаружить ее и боюсь, что ее там больше нет.

Она там.

Спрятанная в этом укрытии — сухом, чистом, подходящего ей размера, она его занимает целиком, раздутая, как кошелек скупца.

В дождь, выходя на прогулку, она движется мне навстречу. Несколько тяжелых прыжков, и она смотрит на меня своими покрасневшими глазками.

Несправедливое человечество считает ее прокаженной — а мне вовсе не зазорно опуститься на корточки возле нее и приблизить к ее лицу мое лицо человека.

Потом я поборю в себе остаток отвращения — и поглажу тебя своей рукой, жаба!

Ведь в жизни проглатываешь и то, что доставляет куда больше сердечной боли.

Было сыро, кругом текла вода, и тут — такая раздутая бородавка! Истина бросалась в глаза.

Мой бедный друг, говорю я ей, не хочу огорчать тебя, но, мой Бог, до чего же ты уродлива!

Она открыла свой рот, ребяческий и беззубый, с теплым дыханием и ответила мне с легким английским акцентом:

«А ты?»

КУЗНЕЧИК

Может, это жандарм насекомых?

Целый день он прыгает и остервенело старается напасть на невидимых браконьеров, которых никогда не поймают.

Самые высокие травы его не останавливают.

Его ничто не может испугать, потому что у него семимильные сапоги, бычья шея, лоб с характером, живот, как корпус лодки, целлулоидные крылья, дьявольские рожки и шпага позади.

Так как невозможно обладать достоинствами жандарма без его недостатков, надо сойтись, кузнечик жует табак.

Если я лгу, попробуй сам поймать его своими пальцами, поиграй с ним в четыре угла и, когда ты его схватишь между двух скачков на листе люцерны, рассмотри его рот: в его ужасных челюстях — черная масса, как разжеванные табачные листья.

Но ты его уже не удержал. Неистовая страсть к прыжку уже охватила его: зеленое чудовище вырывается резким усилием и, неудержимое, легкое, оставляет в твоей руке свою маленькую ножку.

СВЕРЧОК

Это час, когда, устав блуждать, черное насекомое возвращается с прогулки и начинает старательно устранять беспорядок в своем жилище.

Прежде всего он подчищает свои прямые песчаные дорожки. Получается немного опилок, их надо отбросить от порога своего дома.

Как напильником он скребет корень этой большой чистой травинки, которая будет его качать.

Он отдохнет.

Потом он опять заведет свои крохотные часики.

Он уже закончил? Может, они сломались? Он еще немного отдохнет.

Он возвращается к себе и запирает дверь.

Медленно и долго он поворачивает ключ в своем деликатном замочке.

И он прислушивается:

— За домом нет ли тревоги или криков о помощи?

Все же он не чувствует себя в безопасности.

И как будто по маленькой цепочке, колечки которой скрежещут, он опускается чуть ли не на дно земли.

Теперь больше ничего не слышно.

В замолкнувшей немой деревне тополя стоят вытянувшиеся в воздухе и, как пальцы руки, указывают на луну.

ТАРАКАН

Черный и склеенный, как отверстие в замочной скважине.

СВЕТЛЯЧОК

I.

Что происходит? Девять часов вечера, а у него еще светло.

II.

Это капля луны в траве.

ПАУК

Маленькая черная и мохнатая рука, запутанная в своих волосах.

Всю ночь в честь луны он наращивает и удлиняет свои нити.

МАЙСКИЙ ЖУК

Запоздалый и неторопливый буржуа, он раскрывается и слетает с каштана.

Тяжелее воздуха, плохо управляемый, упрямый и брюзжащий, он все же со своими шоколадными крыльями достигает цели.

МУРАВЬИ

Каждый из них похож на цифру 3.

И вот еще один! И еще один! И еще 33
33 33 33 33 33 33 33, и так до бесконечности.

* * *

Муравей провалился в колею с водой, где шел дождь, и он сейчас утонет, но молоденькая куропатка, которая там пьет, хватая его клювом и спасает.

— Я ваш должник, — говорит муравей.

— Мы уже не живем, — отвечает скептическая куропатка, — во времена Лафонтена. Не то чтобы я сомневаюсь в вашей благодарности, но как сможете вы покусать пятку охотника, готового убить меня? Охотники сегодня не ходят босиком.

Муравей не теряет времени на разговоры, он спешит присоединиться к своим братьям, которые все движутся одной и той же дорогой, похожие на черные жемчужинки, нанизанные на нитку.

Однако охотник уже недалеко.

Лежа на боку, он отдыхал в тени дерева.

Он замечает куропатку, которая, переступая и пощипывая клювом, движется по сжатому полю. Он приподнимается и собирается выстрелить, но муравьи облепили его правую руку. Он не может поднять ружье, рука падает беспомощно, и куропатка ждет, чтобы он вернул ее подвижность.

УЛИТКА

I.

Привычная к сезону насморков, с втянутой, похожей на жирафа шеи, улитка бурчит, как простуженный нос.

Она выходит на прогулки, начиная с теплых дней, но умеет работать только языком.

II.

Мой маленький друг Абель играет со своими улитками. Он набирает их полную коробку, он старается различить их, карандашом ставит номера на их ракушках.

Если на улице слишком сухо, улитки спят в своей коробке. Если грозит дождь, Абель расставляет их в ряд на воздухе, а если дождь запаздывает, он их будит, поливая водой из ведра. И все они, кроме мамаш, которые, по его словам, что-то высиживают на дне коробки, прогуливаются под охраной собаки по имени Барбара, она представляет со-

бой пластинку свинца, которую Абель двигает пальцем.

Странно, когда я беседовал с ним о трудностях их дрессировки, то заметил, что он показывал мне знаком «нет» даже тогда, когда хотел сказать мне «да».

— Абель, — говорю ему я, — почему ты все время мотаешь головой?

— Это все мой сахар, — говорит Абель.

— Как сахар?

— Смотри, вот.

В тот момент, когда на четвереньках он возвращал из бегства номер 8, я заметил на шее Абеля между рубашкой и кожей кусочек сахара, который висел на нитке, как медаль.

— Мама вешает мне его, когда хочет наказать.

— Это мешает тебе?

— От него чешется.

— Да еще и жжется, похоже. Вон как там у тебя все покраснело.

— Но зато когда она прощает меня, — говорит Абель, — я его съедаю!

ГУСЕНИЦА

Она выходит из пучка травы, которая прятала ее в жару. Она пересекает песчаную аллею большими волнистыми колебаниями. Она опасается делать остановки и в какой-то момент испытывает страх перед гибелью, провалившись в след сабо садовника.

Достигнув клубники, она дает себе отдых, поднимает нос направо и налево, чтобы понюхать; потом она продолжает путь под листьями и по листьям — теперь она знает, куда направляется.

Какая прекрасная гусеница, жирная, мохнатая, упитанная, коричневая с золотыми пятнышками, а ее черные глаза!

Следуя аромату, она дрожит и морщится, как хмурятся густые ресницы.

Она останавливается под розовым кустом.

Своими тонкими усиками она ощупывает жесткую кору, качает свою маленькую головку новорожденного щенка и решается влезть. И на этот раз вы бы сказали, что она с трудом преодолевает каждую часть дороги. Она задыхается.

На самой высоте куста расцвела роза с красками молодой наивной девушки. Благовухание, которое она издает, пьянит гусеницу. Она никого не остерегается. Она разрешает подняться по ее ветке первой попавшейся гусенице. Она принимает ее как подарок.

И, предчувствуя холодную ночь, она будет довольна, когда это боа обовьется вокруг ее шеи.

БЛОХА

Пушинка табаку на рессорах.

БАБОЧКА

Это любовное письмо, сложенное вдвое,
ищет адрес цветка.

ОСА

Она кончит все же тем, что испортит
себе талию.

СТРЕКОЗА

Она бережет свое зрение.
С одного берега реки до другого она
ничего больше не делает, как промывает в
свежей воде свои вздутые глаза.
И летая, она трепещет, как заведенная
электричеством.

БЕЛКА

I.

Султан мне из перьев! Султан мне!

Да, конечно, но, мой маленький друг, это не то место, на которое он надевается.

II.

Проворный зверек, оживляющий осень и освещающий ее красками. Она безостановочно мчится во всех направлениях под листьями, полыхая факелом своего хвоста.

МЫШЬ

Когда при свете лампы я работаю над моей ежедневной страницей, я различаю легкий шум. Если я останавливаюсь, он прекращается. Он возобновляется, как только мое перо снова заскрипит по бумаге.

Это просыпается мышь.

Я угадываю ее шагки по краю темной дыры, где наша прислуга держит свои тряпки и щетки.

Она спрыгивает на пол и пробегает по плиткам кухни. Она проходит мимо печи, под желобом, теряется в посуде и, пробираясь все дальше по знакомым местам, приближается ко мне.

Каждый раз, когда я откладываю свое перо, тишина ее беспокоит, и каждый раз, когда я пользуюсь им снова, она успокаивается: может, ей кажется, что тут где-то есть еще одна мышь?

Больше я ее не вижу. Она под моим столом, в моих ногах. Она бродит от одной ножки стула к другой. Она трется о мои сабо, покусывает дерево. И вот смело и нагло она уже на них!

И мне нельзя пошевелить ногой, нельзя громко вздохнуть: она удерет.

Мне бы надо продолжить писать, но я не люблю одиночества и, опасаясь, что она оставит меня, слегка выписываю какие-то значки, просто так, мелко-мелко и так тихо, как она грызет свои сухари.

ОБЕЗЬЯНЫ

Сходите посмотреть обезьян (проклятые сорванцы, они окончательно порвали свои штаны!), обезьян, что куда-то взбираются, танцуют при первых лучах солнца, свирепеют, почесываются, что-нибудь очищают, пьют с примитивным изяществом, в то время как в их глазах вслед за недолгим смущением пробегают искрами и так же быстро затухают.

Сходите посмотреть фламинго, которые ходят на цыпочках, боясь замочить в водах бассейна свои розовые юбки; лебедей с тщеславной окаменелостью воротников; страуса с его цыплячьими крыльями и каскеткой делового начальника станции; аистов, которые все время поднимают плечи (это, в конце концов, ничего не означает); марабу, зябущего в своей бедной жакетке; пингвинов в пелерине-макфорлане; пеликана, который держит свой клюв, как деревянную саблю, и попугайчиков — большинство из них все же оказались менее ручными, чем их собственный сторож, который под конец согласился принять от нас в руку десять су.

Сходите посмотреть и яка, отяжелевшего под грузом доисторических мыслей; жирафа, который показывает нам через решетку забора свою голову, сидящую на конце пики; слона, который в сапожищах переступает у своей двери — согнутый, с опущенным книзу носом: он почти весь скрывается в мешке слишком большой для него одежды, позади нее свисает обрывок веревки.

Посмотрите еще дикобраза, украшенного перьями для письма, очень стеснительными при общении его с подругой; зебру — модель, перенесенную на всех остальных зебр; пантеру, поднявшуюся на ноги со своего ложа; медведя, который развлекает нас, вовсе не развлекаясь сам, и льва, который зевает, заставляя зевать и нас.

ОЛЕНЬ

Я входил в лес по просеке, и он шел мне навстречу с другого ее конца.

Сначала я подумал, вот странная личность движется с каким-то растением на голове.

Потом я различил маленькое карликовое дерево с ветками, раскинутыми в стороны, и без листьев.

Наконец, возник отчетливо олень, и мы, остановившись, замерли оба.

Я ему говорю:

— Подойди. Ничего не бойся. Если я и несу ружье, это только для вида, чтобы походить на человека, который все делает всерьез. Я им никогда не пользуюсь и даже картечь оставляю в его шкафу.

Олень слушал и своим чутким ухом воспринимал мои слова. Но стоило мне замолчать, он не колеблется: его ноги дрогнули, как тонкие стебли, которых дуновение воздуха сгибает и разгибает. Он скрылся.

— Какая жалость, — закричал я ему вслед. — Мне уже казалось в мечтах, что мы

шли по дороге вместе с тобой. Я предлагал тебе из моей руки травы, которые ты любишь, ты же, неторопливо шагая на прогулке, нес мое дремлющее ружье на своих рогах!

ПЕСКАРЬ

Он поднимается вверх по быстрому течению воды и следует по дороге, которую указывают камешки на дне: он ведь не любит ни тину, ни траву.

Он замечает бутылку, которая лежит на песчаном дне. Она заполнена только водой. Я, рискуя, забыл вставить пробку. Пескарь вертится вокруг нее, ищет вход, и вот он попался.

Я поднимаю бутылку и выбрасываю пескаря обратно в реку.

Он слышит наверху шум. Вместо того чтобы уплыть, он приближается, просто из любопытства. Это я развлекаюсь, топчусь в воде и хочу замутивить дно, двигая жердью около моей сети. Упрямый пескарь старается пролезть через петлю сети. Он в ней и остался.

Я поднимаю сеть и выбрасываю пескаря.

Глубже, резкий рывок моей удочки, цветной поплавок дрожит в струях воды.

Я вытаскиваю, и опять он.

Я снимаю его с крючка и отбрасываю в воду.

На этот раз, надеюсь, я его больше не выловлю.

Он здесь, неподвижный, у моих ног под прозрачной водой. Я различаю его расширенную голову, его большой глупый глаз и пару усов.

Он зевает, губа разодрана, и он тяжело дышит после таких волнений.

Но ничто его не останавливает.

Я снова опускаю удочку с тем же червем.

И тут же пескарь хватает его и кусает.

Кто из нас устанет первый?

* * *

Определенно, они вовсе не хотели хватать наживку. Они просто не знали, что это сегодня открытие рыбной ловли!

ЩУКА

Неподвижная в тени плакучей ивы — это кинжал, замаскированный в боку старого бандита.

КИТ

У его подруги во рту есть из чего сделать себе корсет — но с такой талией!..

РЫБЫ

Г-н Верне не был знаменитым рыбаком — рыбаком-ученым, хвастливым, болтливым, невыносимым. У него не было специальной одежды, снастей, дорогих и бесполезных, и бессонная ночь перед открытием сезона не вызывала у него повышенных эмоций.

Его удовлетворяли одна удочка, веревочная сеть, один скромно окрашенный поплавок и холщовый мешок, в котором он приносил рыбу. При этом г-н Верне любил рыбную ловлю; увлеченно — это, пожалуй, было бы сильно сказано, но он в самом деле очень ее любил — после того, как отказался убежденно, по разным причинам от других своих любимых занятий.

С открытием рыбалки он удил почти каждый день, утром или вечером, чаще всего в одном и том же месте. Другие рыбаки придают значение разному ветру, солнцу, которое слишком греет, состоянию воды; г-н Верне — ничуть. Держа в руке удочку с жердью из орешника, он шел по своему усмотрению вдоль Ивонны, останавливался в тот момент,

когда ему не хотелось идти дальше, раскручивал и ставил удочку и проводил приятные часы до возвращения домой к завтраку или обеду. Г-н Верне не был настолько увлечен ловлей, чтобы закусывать на воздухе без удобств.

Именно так, в прошлое воскресенье, ранним утром, немного торопясь в этот первый день рыбалки, он оказался сидящим на траве, а не на складном стульчике на берегу реки.

Сразу он почувствовал, насколько мог, что это его развлекает. Это утро казалось ему чудесным не только потому, что он удил, но потому, что он дышал свежим воздухом, потому, что смотрел на сверкающую блеском Ивонну, провожал глазами пляшущих по воде на длинных ножках насекомых и слышал позади себя пение сверчка.

Вскоре он уже держал рыбу.

Это не такое уж удивительное событие для г-на Верне, он вылавливал других, не испытывая к ним сильных чувств, это было не свойственно ему, но каждый раз, когда рыба хватала наживку и сильно дергала удочку,

надо было вытащить ее из воды. И г-н Верне тянул ее каждый раз с некоторым волнением, что угадывалось по дрожанию его пальцев, которые меняли наживку.

Г-н Верне, прежде чем открыть свой мешок, положил пескаря на траву. Нечего говорить: «Что? Это всего лишь пескарь?» Есть большие пескари, которые так сильно рвут удочку, что сердце рыбака бьется, предчувствуя необычное.

Г-н Верне, успокоившись, забросил удочку в воду и, вместо того чтобы бросить пескаря в мешок, сам не зная почему (он и потом не мог себе это объяснить), стал его разглядывать.

Впервые он смотрел на рыбу, которую выудил! По привычке он спешил бросить удочку другим рыбам, которые ее ждали. Сегодня он смотрел на пескаря с любопытством, затем с удивлением, потом с каким-то беспокойством.

Пескарь после нескольких прыжков, которые быстро его утомили, остался недвижим на боку, и признаками жизни остались лишь видимые усилия, с которыми он дышал.

С плавниками, приклеенными к спине, он открывал и закрывал свой рот, украшенный на нижней губе двумя щупальцами, похожими на маленькие нежные усики. И постепенно дыхание становилось более жалким, челюсти переставали смыкаться.

— Смешно, — говорит г-н Верне, — я замечаю, что он задыхается!

И он прибавил:

— Он же мучается!

Это наблюдение было новым и неожиданным. Да, рыбы мучаются, когда они умирают. Этому сначала не веришь, потому что они об этом не говорят, они ничего не выражают; они немые, вот случай об этом сказать; но, слабейший в агонии, этот пескарь еще играет!

Чтобы видеть умирающих рыб, нужен, между прочим, такой внимательный взгляд, как у г-на Верне. Пока не думаешь, это не важно, но стоит только подумать!..

Я знаю себя, говорит Верне, я жалкий человек, я себя спрашиваю и я выясню до конца у своего собеседника: бесполезно противиться логике, меня не остановит боязнь

стать смешным. После охоты — рыбалка! Был такой день на охоте, когда после всех моих преступлений я сказал себе: по какому праву ты все это делаешь? Ответ был готов. Надо увидеть, наконец, что сломать крыло куропатки или лапы зайца — это преступно.

Вечером я повесил свое ружье, которое больше не будет убивать. А сейчас как удар пришла ко мне ненависть к рыбной ловле, куда менее кровавой.

При этом словах г-н Верне увидел, что поплавок его удочки, лежавший спокойно на воде, как назло ожил. Он машинально еще раз выдернул удочку. Это был окунь, ошетилившийся, колючий, прожорливый, как все ему подобные, он проглотил крючок до самого живота. Надо было извлечь его, вырвать из тела, рвать красное кружево его жабр, окунуть руки в его кровь!

О! Этот кровоточил, он объяснялся!

Г-н Верне свернул удочку, запрятал под ивой обеих рыб, которых, может быть, найдут выдра, и ушел.

Он, пожалуй, казался веселым и рассуждал на ходу.

Мне не будет прощения, говорил он себе. Охотясь, я мог бы покупать за деньги и другое мясо, но все же дичь была и моим пропитанием. Я не убивал единственно для развлечения. Но г-жа Верне смеется, когда я приношу ей несколько мелких и худосочных рыбешек, которых даже не прошу пожарить. Это кот угощается ими, пусть сам идет ловить их, если захочет. Я же ломаю свою удочку.

Все же г-н Верне, когда еще держал в руках разодранные куски, шептал, не без горечи:

— Может, это значит приобрести, наконец, мудрость — или потерять вкус к жизни?

В САДУ

Лопата: Fac et spera*.

Мотыга: Я тоже.

Цветы: Сегодня будет солнце?

Подсолнечник: Да, если я захочу.

Лейка: Простите, если я захочу, будет дождь, если надену распылитель — ливень.

Розовый куст: О! Какой ветер!

Надзиратель: Я здесь.

Малина: Почему у роз есть шипы? Роза ведь несъедобна.

Ручка садка: Отлично сказано. Потому-то я и подкалываю ее моими колючками.

Чертополох: Да, но уже слишком поздно.

Роза: Ты находишь меня красивой?

Трутень: Придется заглянуть внутрь.

Роза: Входи.

Пчела: Больше бодрости! Во всем мире говорят, что я хорошо работаю. Надеюсь к концу месяца стать Главой Улья.

Фиалка: Мы все официальные Члены Академии.

* Работаю и надеюсь (*лат.*).

Белая Фиалка: Тем больше поводов, сестрица, обладать скромностью.

Лук-порей: Безусловно! Разве я горжусь?

Шпинат: Щавель — это я!

Щавель: Да нет же, это я!

Спаржа: Весь смысл в моем маленьком пальчике. Он выражает все.

Картошка: Мне кажется, что у меня начали рождаться детки!

Яблоня — Грушевому дереву напротив: Это твою грушу! Это твою грушу! Твою грушу! Твою грушу я хотела бы произвести!

МАКИ

Они вспыхивают во ржи, как армия маленьких солдат, но наиболее ярко-красные совсем безвредны.

Их оружие — это стебель.

Ветер заставляет их колыхаться, и каждый мак приостанавливается, когда по краю своей борозды хочет составить один пейзаж с васильками.

ВИНОГРАДНИК

Каждая его лоза держит каждый свой прут вытянутым прямо, как с оружием наготове.

Чего они ждут? Виноград еще не родится в этом году, и листья виноградника пока только служат изображению скульптуры.

ЛЕТУЧАЯ МЫШЬ

Ночь слабеет, теряя свою силу.

Она истощается не на высоте, среди своих звезд, она изнашивается, как платье, которое волочится по земле между камнями и деревьями, до глубины зловонных тоннелей и сырых подвалов.

Нет ни одного закоулка, куда не проник бы хоть один клочок ночи. Острые углы, как шипы, прокалывают его, холод раздирает, грязь портит. И каждое утро, когда ночь отступает, становятся видны какие-то висящие лоскуты, зацепившиеся где попало.

Так рождаются летучие мыши.

И эта особенность вынуждает их испытывать ненависть к блеску дневного света.

С заходом солнца, когда на нас уже веет прохлады, они отделяются от старых балок, на которых в летаргическом сне висели, зацепившись одним когтем.

Их полет с уклоном влево нас пугает. Они сохраняют направление скорее с помощью ушей, чем с помощью своих израненных глаз.

Мой друг прячет лицо, а я отворачиваю голову, опасаясь неожиданного столкновения.

Говорят, с большей страстностью, чем та, что мы проявляем в любви, они могут высосать всю нашу кровь до смерти.

Как преувеличивают!

Они совсем не злые. Они никогда нас не тронут.

Девы ночи, они ненавидят только свет и шелестом своих траурных шалей ищут свечу, чтобы ее погасить.

КЛЕТКА БЕЗ ПТИЦ

Феликс не понимает, как можно держать птиц пленницами в клетках.

Это такое же преступление, говорит он, как срывать цветок. Сам я хочу вдыхать его аромат только с живого стебля — и птицы созданы для полета.

Несмотря на это он покупает клетку, вешает ее на окно. Он кладет в нее гнездышко из ваты, ставит мисочку с зерном и чашку с чистой водой, меняет ее. Он вешает качели и маленькое зеркало.

И когда его с удивлением расспрашивают, он говорит:

— Я радуюсь своему великодушию каждый раз, когда смотрю на эту клетку. Я мог бы посадить туда птицу, а я оставляю ее пустой. Если бы я захотел, кто-нибудь из сумеречных дроздов, какой-нибудь щеголеватый прыгающий снегирь или другая из наших птиц были бы в рабстве, но благодаря мне одна из них, по крайней мере, останется на свободе. Так должно быть всегда.

ЧИЖ

И что мне вздумалось купить эту птицу?

Продавец говорит мне: «Это самец, подождите неделю, он привыкнет и запоет».

Но птица упорно продолжает молчать и все делает наоборот.

Стоит мне наполнить ее посудинку зерном, она цепляет ее клювом и разбрасывает корм на все четыре стороны.

Я привязываю на веревочке бисквит между двух прутьев клетки, чиж клюет только веревку, отталкивает и ударяет, как молотком, бисквит, и он падает.

Он купается в чистой воде для питья и пьет из своей ванночки. И получает удовольствие от того и другого.

Он воображает, что свежая пышка — это материал, в котором птицы его породы выдалбливают выемку для гнезда, и он инстинктивно вжимается в нее.

Он еще не понимает полезности листьев салата и развлекается только тем, что раздирает их.

Когда наконец клюнет зерно, чтобы его съесть, то глотает с трудом. Он перекачивает его клювом из одного угла в другой, он его прижимает, давит и мучительно вертит головой, как маленький старичок, у которого нет зубов.

Его кусок сахара никогда не служит ему. Это может быть камень, который ему попался, или подставка, или совсем ненужный стол?

Он предпочитает деревянные жердочки. У него их две, они накладываются, скрещиваются, и мне приятно наблюдать, как он скачет. В его движениях нет глупой размеренности маятника. Для какого же удовольствия он так скачет, подпрыгивает для какой необходимости?

Отдыхая после своей задумчивой гимнастики, зацепившись одной лапкой за перекладину, которую он покусывает, он ищет машинально другой лапкой ту же перекладину.

А когда приходит зима и топят печи, он воображает, что пришла весна, время его линьки, и сбрасывает перья.

Свет лампы тревожит его ночи, нарушает привычные часы сна. Он засыпает с заходом солнца. Я даю темноте стуситься вокруг него. Может, он видит сны? Я резко приближаю к нему лампу. Он открывает глаза. Что? Уже день? И он быстро начинает двигаться, танцевать, разрывать листок, распускает хвост веером и расправляет крылья.

А я задуваю лампу и жалею, что не могу рассмотреть его ошеломленную мину.

Но довольно с меня этой немой птицы, которая живет навыворот, — я выдворяю ее через окно... Она не знает, как воспользоваться своей свободой от клетки. Ее можно будет поймать рукой.

Пусть поберегутся возвратить ее мне! Я не только не поблагодарю, но поклянусь, что не знаю этой птицы.

ЗЯБЛИК

На краю риги звучит напев зяблика.

Он с разными промежутками поет свой врожденный мотив, все время повторяя его.

Как ни приглядывайся, как ни щурься — не различить его на фоне массивной риги.

Вся жизнь этих камней, этого сена, этих толстых бревен, этой черепицы ускользает и вырывается через птичий клюв.

Вернее, сама по себе постройка насвистывает маленькую песню.

СОРОКА

С прошлой зимы ей всегда остается немало снега.

Соединив ноги, она подпрыгивает по земле, а затем одним заученным движением взлетает, направляясь к дереву.

Иногда она минует его и может остановиться только у соседнего дерева.

Заурядная, настолько незаметная, что кажется бессмертной, готовая в своем одеянии болтать с утра до вечера, невыносимая со своей безостановочной трескотней, это наша, наиболее французская птица.

* * *

Сорока: Какакакакака...

Лягушка: Что она говорит?

Сорока: Я не говорю, я пою.

Лягушка: Ква!

Крот: Замолчите вы, там, наверху, не слышишь себя в работе!

ГНЕЗДО ЩЕГЛА

Было у нас на развесистой ветке вишни гнездо щегла, на вид красивое, аккуратное, круглое, выложенное волосками снаружи и пушком внутри, с четырьмя только вылупившимися птенчиками.

Я говорю отцу:

— Я хотел бы забрать их и вырастить.

Мой отец часто объяснял, что сажать птиц в клетку — преступление. Но на этот раз, возможно, устав это повторять, он промолчал.

Прошло несколько дней, я ему говорю:

— Если я все же захочу, сделать это будет просто. Сначала я помещу все гнездо в клетку, привяжу клетку к вишне, и мама будет кормить птенцов через прутья клетки, до тех пор, пока они уже не будут в ней нуждаться.

Отец не ответил, что он думает по поводу такого способа.

Вот почему я повесил клетку на вишню, и все пошло, как я и предвидел: старшие щеглы непрерывно приносили птенцам полные клювы гусениц, и отец наблюдал издали,

заинтересованный, как и я, их неизменным маршрутом в обе стороны, расцвеченным цветами. Их полет окрашивался оттенками то кроваво-красным, то оранжевым, как черепица.

Как-то вечером я говорю:

— Птенцы уже достаточно окрепли. Если бы они жили на свободе, то уже улели. Пусть проведут последнюю ночь вместе, а завтра я перенес бы их в дом, повесил клетку на окне, — во всем мире мало найдется таких ухоженных щеглов.

Отец ничего мне не возразил.

Назавтра я нашел клетку пустой. Отец был рядом, свидетелем моего изумления.

— Я не любопытен, — сказал я, — но кто этот глупец, который открыл клетку!

ВОРОБЕЙ

Сидя в саду под орешником, я прислушиваюсь к шумам, которые производят насекомые и птицы листьями дерева, оно не опасается и доверяет им.

Молчаливое, неподвижное при нашем приближении, оно снова оживает, начинает шевелиться, если верит, что нас уже здесь нет, потому что мы молчим, как и оно.

Сперва щегол порхает среди веток, невзначай поклевывает листья и улетает, не заметив меня, — а затем и воробей прилетел и, не увидев меня, устроился на одной из веток над моей головой.

Уже достаточно крепкий, он, должно быть, еще молод. Он сжимает лапками ветку и больше не двигается, как будто полет его утомил; он щебечет тихо и нежно. Он не может видеть меня, и я его долго рассматриваю. Все-таки мне нужно поменять положение. В тот момент, когда я это делаю, воробей поднимает свои крылья и сразу опускает их, ничуть не беспокоясь.

Сам не зная почему, машинально я привстаю и одними губами зову его, протянув руку.

Воробей, неловко взлетев, опускается со своей ветки на мой палец!

Я чувствую себя растроганным, как человек, который обнаружил в себе скрытое до того обаяние, как мечтатель, случайно улыбнувшийся незнакомой женщине и увидевший в ответ ее улыбку.

Воробей доверчиво бьет крыльями, чтобы сохранить равновесие на кончике моего пальца, и его клюв готов что-нибудь проглотить.

Я было уже собрался показать его своему наверняка удивленному семейству; но ко мне подбегает наш маленький сосед Рауль — кажется, он что-то ищет.

— А! Он у вас? — говорит он.

— Да, дружок, я-то знаю, как их ловить, поверь!

— Он вылетел из клетки, — говорит Рауль, — и я ищу его с утра.

— Как? Это твой?

— Да. Уже восемь дней, как я его обучаю. Он уже летает далеко и стал совсем ручным.

— Держи своего воробья, Рауль; но не давай ему улететь, иначе я задушю его, он внушает мне страх!

ЛАСТОЧКИ

* * *

I.

Они задают мне каждодневный урок.

Они точками носятся в воздухе с негромкими криками.

Они прочеркивают неожиданно прямую линию, в конце ее делают запятую и внезапно возвращаются на прежний путь.

Они заключают в сумасшедшие скобки дом, где я живу.

Слишком живые, чтобы водоем в саду сделал копию с их полета, они взлетают от погреба до чердака.

Одним пером легкого крыла они завивают неподражаемые росчерки.

Потом, объединяясь в пары, они присоединяются к остальным, смешиваясь, и на голубине неба превращаются в пятнышки чернил.

Но только дружеский взгляд может уследить за ними и, если вы знаете греческий и латинский, то я читаю древнееврейский, который выписывают в воздухе ласточки с дымовой трубы.

Зяблик: Я нахожу ласточку глупой: она воображает, что труба это дерево.

Летучая мышь: Если уж говорить о нас двоих, это она летает намного хуже: при свете дня она только и делает, что сбивается с пути; если бы она летела ночью, убила бы сразу.

II.

Дюжина ласточек с белыми перышками в хвосте мечется на моих глазах с беспокойным и молчаливым воодушевлением на ограниченном пространстве, будто в вольере. На мой взгляд, это как быстрое тканье мастериц, которых подгоняет время.

Что ищут они, потерянные в воздухе, изрешеченном их полетом? Просят ли они пристанища? Хотят ли проститься со мной, неподвижным, и я чувствую, я жду столкновения, в котором две из этих сумасбродных разобьются. Но с ловкостью, которая обескураживает, они исчезают мгновенно, даже не задев друг друга.

ДРОЗД

В моем саду растет старое, почти мертвое, дерево грецкого ореха, которое наводит страх на маленьких птиц. Только одна черная птица проживает в оставшихся его листьях.

Но остальной сад полон цветущими деревьями, в которых гнездятся птицы, веселые, живые, всех ярких красок.

И кажется, что все эти молодые деревья насмеваются над старым грецким орехом. Ежеминутно они бросают ему, как насмешливые слова, летящую стаю щебечущих птичек.

Поочередно воробьи, зимородки, синицы и зяблики его дразнят, они задевают, толкают крыльями кончики его веток; в воздухе стоит треск от мелкой дробы их голосов; вдруг они скрываются, и вот уже новая независимая банда слетает с молодых деревьев.

Как могут, они пронзительно верещат, они пищат и надсаживаются от криков.

Так, с рассвета до заката, как издевательские слова, зяблики, синицы, зимородки и

воробьи перелетают с цветущих деревьев к старому грецкому ореху.

Но иногда он теряет терпение, шевелит своими последними листьями, выбрасывает свою черную птицу и посылает ругательство: «Merle!»

* * *

Сойка: Всегда в черном, противный дрозд!

Дрозд: Господин Помощник Префекта, у меня нет ничего, кроме этой одежды!

ЖАВОРОНОК

I.

Я никогда не видел жаворонка и напрасно поднимаюсь с рассветом. Жаворонок — не земная птица.

С раннего утра я напрасно топчу земляные кочки и сухие травы.

Стаи серых воробьев и расцвеченных живыми красками щеглов колеблются над колючей изгородью.

Сойка, в своем официальном наряде, летит на проверку деревьев.

Перепелка обрывает люцерну и прочерчивает вороне прямую линию своего полета.

Возле пастуха, который вяжет не хуже женщин, ходят в тесноте одна за другой овцы, все совершенно одинаковые.

И вдруг все загорается таким новым ярким светом, что ворон, который обычно не предвещает ничего хорошего, вызывает улыбку.

Но прислушайтесь, как слушаю я!

Слышите ли вы там, где-то высоко в золотой чаше сталкиваются и звенят осколки хрустала!

Кто может мне сказать, где поет жаворонок?

Если я смотрю вверх, солнце обжигает мне глаза.

Придется отказаться от мысли увидеть его.

Жаворонок живет в небе, и это единственная птица, которая с неба доносит пение до нас.

II.

Она упадет, опьяненная даром взлететь к солнцу и забиться в свете его лучей.

ЗИМОРОДОК

Сегодня вечером не было клева, но я испытал редкое волнение.

В какой-то момент, когда я невольно держал вытянутой жердь моей удочки, зимородок внезапно прилетел и расположился на ней.

У нас нет более красочной птицы.

Он казался большим синим цветком на конце тонкой ветви. Удочка клонилась под его тяжестью. Я не дышал, гордый сознанием, что сам зимородок принял меня за дерево. И я уверен, что он не испугался и улетел не со страха, а просто — перелететь с одной ветки на другую.

ИВОЛГА

Я ей говорю:

— Верни мне сейчас же эту вишню.

— Хорошо, — отвечает иволга.

Она отдает вишню и вместе с вишней триста тысяч вредных личинок насекомых, которых она заглатывает в год.

ТЯСОГУЗКА

Она бежит столько же, сколько летает, и всегда у наших ног, знакомая, неуловимая, она своим слабым покрикиванием призывает нас остерегаться наступить ей на хвост.

СОЙКА

Помощник Префекта в полях.

ПОПУГАЙ

Неплохо!

Он несомненно обладал некоторыми достоинствами во времена, когда животные ничего не выражали.

Но сегодня все животные проявляют талант.

ЯСТРЕБ

Сначала он выписывает круги над деревней.

Он всего лишь мошка, капля сажи.

Он увеличивается по мере того, как круги сужаются.

Иногда он остается неподвижным. Птицы в птичнике начинают проявлять признаки беспокойства. Голуби возвращаются под крышу. Различимые гоготания бдительных гусей передаются из одного птичьего двора в другой.

Ястреб задумчиво приостанавливает полет и планирует на одной высоте. Не нацелился ли он на петуха с колокольни?

Веришь, что он подвешен к небу на нитке.

Внезапно нить рвется, ястреб падает на избранную жертву. Здесь, внизу, это страшный, драматический момент.

Но к всеобщему удивлению он останавливается перед самой землей, будто не хватило его веса, и взлетает одним махом крыла.

Он увидел, что я слежу за ним из-за дверей и что я прячу позади себя нечто длинное и блестящее.

ВОРОНЫ

I.

Грамматический знак ударения на борозде.

II.

— Что? Что? Что?

— Ничего.

III.

Вороны летают под синим небом без всякого строя. Вдруг один из них, который во главе, замедляет полет и делает большой круг. Остальные поворачиваются за ним. Кажется, они исполняют хороводный танец, соскучившись на дороге, и потому делают поклоны своими крыльями, протянутыми, как складки на юбке.

Один из воронов только что известил о беде.

Я взял свое ружье и застрелил ворона.

Он не ошибся.

КУРОПАТКИ

Куропатки и землепашцы живут в мире, он за своим плугом, она в соседней люцерне, на расстоянии, которое необходимо каждому, чтобы его не стеснять. Куропатке знаком голос крестьянина и ее не смущает, если он покрикивает или ругается.

Пусть плуг скрипит, пусть бык покашливает или осел начинает кричать, она знает, это не опасно.

И это спокойствие длится, пока я ее не встревожу.

Но я пришел, и куропатка улетает, пахарь теряет спокойствие, тем более бык, тем более осел. Я стреляю, и от назойливого грохота в природе нарушается порядок.

Эти куропатки, я их вначале поднимал в жнивье, я поднимал их на лугу, потом с изгороди, потом на опушке леса, потом...

И вдруг я останавливаюсь весь в поту и вскрикиваю:

— А! Дикарки, как же они заставляют меня бегать за ними!

Издали я замечаю что-то у подножия дерева посреди луга и всматриваюсь, подходя к изгороди и через нее.

Мне кажется, шейка птицы выпрямляется в тени дерева. Сердце бьется сильнее. В этой траве могут быть только куропатки. Ни одного знакомого признака, мать, ожидая меня, распластала своих детей. Сама она присела, но шея ее держится прямо, и она стережет. А я жду, ведь шейка не шевелится, я боюсь ошибиться, выстрелить по корешку.

Здесь и там вокруг дерева желтые пятна — куропатки или земляные кочки, все это окончательно запутывает картину.

Если я упусти куропатку, ветви дерева помешают выстрелить влет, да и я больше люблю стрелять по земле.

Но то, что я принимаю за шейку куропатки, остается неподвижным.

Наблюдаю долго.

Если это действительно куропатка, она восхитительна своей недвижимостью и бдительностью — и все другие сторожа должны бы подражать ей. Ни малейшего движения.

Я иду на хитрость, я прячусь весь в изгороди, я перестаю наблюдать, ведь если я вижу куропатку, то и она видит меня. Теперь мы все невидимы в мертвой тишине.

Затем я снова смотрю.

О! На этот раз я уверен. Куропатка поверила в мое исчезновение, шейка приподнялась, и движение, которое она произвела, чтобы согнуть, выдало ее.

Я медленно прикладываю к плечу свое ружье.

Вечером, усталый и сытый, прежде чем погрузиться в сон, полный видениями обильной дичи, я размышляю о куропатках, за которыми бегал полный день, и представляю себе ночь, которую они проводят.

Они обезумели!

Почему они не зовут никого?

Почему среди них страдающие и клюющие свои раны, ни одна не останется на своем месте?

И почему принято внушать им страх, всем им?

Едва они расположатся, как та, которая наблюдает, объявляет тревогу. Надо уходить, оставить траву или жнивье.

Они только и делают, что опасаются, и они пугаются даже шумов, к которым уже привыкли.

Они больше не сопротивляются, не едят, не спят даже.

Они ничего не понимают.

Если перо, которое слетело с раненой куропатки и само по себе вонзилось в мою шляпу, гордого охотника, я не увижу в этом преувеличения.

Если только идут сплошные дожди или устанавливается слишком сухое время, если моя собака теряет нюх и куропатки становятся неприступными, я себя ощущаю в положении справедливой защиты.

Есть птицы сорока, сойка, дрозд, с которыми уважающий себя охотник не вступает в борьбу, а я себя уважаю.

Я люблю только битву с куропатками.

Они такие хитрые!

Их хитрость, это идти издалека, но их замечают, ловят и истребляют.

Это подождать, чтобы охотник прошел мимо, но позади него они взлетают слишком поспешно, и он поворачивается.

Это прятаться в густой люцерне, но он именно туда и пойдет.

Это на лету сделать крюк, но таким образом они приблизятся.

Это бежать, вместо того чтобы лететь, и они бегом быстрее человека, но есть же собака!

Это звать друг друга, когда их различают, но этим они зовут и охотника, и нет для него ничего важнее их пения.

Уже эта молодая парочка начинала самостоятельную жизнь. Я заметил их вечером у края пашни. Они полетали, так крепко сцепившись между собой, крылья у одной сверху, у другой снизу, я вижу, что ружейный выстрел, который сразил одну, высвободил другую, но у другой было время увидеть свою подругу мертвой и предчувствовать себя умирающей возле нее.

Обе вместе, на одном участке земли. Они оставили немного любви, немного крови и несколько перышек.

Охотник, одним выстрелом ты совершил два великолепных удара: иди, расскажи об этом своему семейству!

Эти две старые, прошлогодние, потомство которых было уничтожено, любили друг друга не меньше молодых, я всегда видел их вместе. Они ловко уходили от меня, и я ожесточенно их преследовал. Это только случайно я убил одну. А потом я искал вторую, чтобы убить и ее, ее только из жалости.

Вот у этой одна лапка сломана и висит, как будто я удерживаю ее нитью.

Вот эта следует сначала за другими, пока крыло ей не изменяет, она припадает, топчется и бежит, сколько может, перед собакой, легкая, почти над землей.

Эта вот получила заряд в голову. Она отрывается от других. Она висит в воздухе оглушенная, поднимается выше деревьев, выше пегушка колокольни к солнцу. И охотник, полный мучительной тоски, теряет ее из вида, пока она уступает, наконец, тяжести

своей головы, складывает крылья и врезается клювом в землю, как стрела.

Вот эта падает внезапно, безропотно, как тряпка, которую бросают в нос собаке, когда ее дрессируют.

Эта при вспышке огня качается, как маленькая лодочка, и опрокидывается.

Непонятно, почему умерла вот эта, так скрыты ее ранки в оперении. Я быстро сую ее в карман, как будто боюсь быть замеченным, увидеть себя.

Но надо задушить ту, которая не хочет умирать. Между моими пальцами она хватается воздух, открывает клюв, и тонкий язык дрожит, и на ее глаза, так говорит Гомер, опускается тень смерти.

Там, услышав мой выстрел, поднимает голову крестьянин и смотрит на меня.

Это судья, что ли, тот рабочий человек, он хочет мне что-то сказать; суровым голосом он хочет пристыдить меня?

Или это завистник, которому не придется охотиться, как мне, или славный парень, которого я забавляю и который указывает мне, куда ушли куропатки?

И никогда в объяснениях я не услышу возмущения или порицания.

Я возвращаюсь в это утро после пяти часов ходьбы с пустой сумкой, с тяжелым ружьем, с опущенной головой. Стоит предгрозовая жара, и моя поникшая собака идет маленькими шажками впереди меня вдоль изгороди, присаживается в тени дерева, ждет.

Внезапно, когда я пересекаю свежую люцерну, она падает, вернее расплывается замертво: это резкая остановка, неподвижность животного, только дрожат волосы на кончике хвоста.

Я бы поклялся, что куропатки у нее под носом. Они действительно здесь, тесно прижатые друг к другу под защитой от ветра и солнца. Они видят собаку, они видят меня, может, они меня узнают и в ужасе не трогаются с места.

Очнувшись от оцепенения, я готов и жду.

Моя собака и я, мы не пошевелимся первыми.

Резко и одновременно куропатки вспархивают, как склеенные в одну. И я направляю в кучу выстрел, как удар кулаком.

Одна из них, убитая, вертится в воздухе. Собака делает скачок и приносит окровавленный кусок, половину куропатки. Удар унес остальное.

— Пошли! Мы возвращаемся не с пустыми руками. — Пес прыгает, а я небрежно раскачиваюсь от гордости.

Да! Я заслужил хороший удар ружьем по заднему месту!

БЕКАС (ВАЛЬДШНЕП)

I.

От апрельского солнца остались только розовые отсветы на облаках, которые будто пришли и больше не двигаются.

Ночь поднималась с земли и окутывала нас постепенно в узкой прогалине, где отец ожидал бекасов.

Стоя возле него, я отчетливо различал только его фигуру. Он, гораздо выше меня, тоже еле видел, и собака, невидимая, дышала у наших ног.

Певчие дрозды спешили вернуться в лес, откуда один из дроздов посылал свой гортанный крик, своего рода стон, который являлся приказом для всех птиц замолкнуть и спать.

Бекас должен был уже скоро оставить свои укрытия в сухих листьях и подняться. Когда так тепло, как в этот вечер, он запаздывает, не спешит перелететь в долину. Он кружит над лесом и ищет подругу. Можно догадаться по его призыву, подлетает она или удаляется. Ее тяжелый затрудненный полет

проходит меж больших дубов, ее длинный клюв свисает так низко, что, кажется, она прогуливается в воздухе с маленькой тросточкой.

Пока я с напряженным вниманием слушал и смотрел, мой отец вдруг сделал выстрел, но не побежал за собакой, которая рванулась.

— Ты промахнулся? — говорю я ему.

— Я не стрелял, — говорит он. — Ружье само выпалило.

— Само?

— Да.

— А... Может, задело за ветку?

— Я не знаю.

Я слышу, как он вынимает пустой патрон.

— Как ты его держал?

Неужели он не понял?

— Я тебя спрашиваю, куда был направлен ствол?

Так как он не отвечал, я не смел дальше говорить. Наконец, я сказал ему:

— Ты мог бы убить... собаку.

— Уйдем отсюда, — сказал отец.

II.

Сегодня после мелкого дождика погода очень теплая. Уходим около пяти часов и достигаем леса. Идем по листве до самого захода солнца.

Собака ищет свои собачьи места, деятельно роясь в лесочке. Почует ли она бекасов?

Это мало интересует охотника, если он поэт!

После часа бездействия можно расположиться, как всегда слишком рано, в тени дерева на краю лужайки. От быстрого промелька дроздов бьется сердце... Ствол ружья двигается от нетерпения. Каждый звук вызывает волнение! Ухо прислушивается, глаз приглядывается и время мелькает так быстро... что это уже слишком поздно.

Бекасы больше не поднимутся в этот вечер.

Ты не сможешь улечься здесь, поэт!

Вернись: пойди без дорожки, ведь уже ночь, по сырым лугам, где твои ботинки растопчут маленькие шалашики кротов; вернись

к себе в тепло и свет, без сожалений потому, что нег у тебя бекаса, — а может, ты одного оставил дома!

НОВАЯ ЛУНА

Отточенный рожок луны продвигается, будто отталкивается.

Солнце исчезло. Поворачиваешься: луна здесь. Она следовала за ним, молчаливая, ничего не говоря, скромная и терпеливая, похожая на него подражательница.

Луна, всегда точная, вернулась. Человек ожидал с сердцем, сдавленным мраком, и он так счастлив увидеть ее, что забыл даже, что хотел ей сказать.

Огромные белые облака приближаются к полной луне, как медведи к медовым сотам.

Мечтатель удивляется, разглядывая луну, лишенную окружающих ее острых лучей, и которая ничего не выражает, никогда ничего!

Неожиданно возникает какое-то болезненное ощущение.

Это луна, которая удаляется и уносит наши секреты. На горизонте видится еще только край ее уха.

СЕМЬЯ ДЕРЕВЬЕВ

Я пересекал долину, залитую палящим солнцем, и, поднявшись, сразу их встретил.

Они не стали жить на краю дороги, там им мешал бы шум. Они поселились среди просторов невозделанных полей над ручейком, который знаком одним только птицам.

Издали они кажутся непроходимым монолитом. Стоит же немного приблизиться, как их стволы будто размыкаются.

Они принимают меня с благоразумной осторожностью. Я могу отдохнуть, освежиться, но я догадываюсь, что они наблюдают за мной и остерегаются меня.

Они живут семьей. Старшие в середине, а молодые и те, у которых только родились первые листочки, располагаются в отдалении, но никогда не сближаются и не касаются друг друга.

Они ведут долгую жизнь и хранят своих мертвых статными, устремленными ввысь, пока падение не превратит их в пыль.

Они радуются, когда их длинные ветви соприкасаются между собой: как слепые, они

должны убедиться, что все на месте. Они размахивают ими в гневе, когда ветер грозит сломать их.

Но между ними — никаких ссор. В их шепоте только согласие.

Я чувствую, что они должны стать моей настоящей семьей. Другую я забуду быстро. Эти деревья усыновят меня, но не сразу, и чтобы заслужить это, я постигаю все, что должен знать:

Я знаю уже, как разглядывать плывущие надо мной облака;

Я знаю также, как оставаться неподвижным;

И я почти научился молчать!

КОНЕЦ ОХОТНИЧЬЕГО СЕЗОНА

Это плохой день, серый и короткий, как подрезанный с двух сторон.

К полудню унылое солнце пробует пробить густой туман и приоткрывает бледный глазок, который тут же закрывается.

Я иду куда попало. Ружье мое бесполезно, и моя собака, такая обычно стремительная, не отходит от меня.

Вода в реке стала настолько прозрачной, что вызывает странное чувство: кажется, опустишь пальцы, и она разрежет, как острие битого стекла.

Из жнивья с каждым моим шагом брызгает оглушенный жаворонок. Все они объединяются, что-то стрекочут, и их полет с трудом преодолевает ледяной воздух.

Там, дальше, целые сообщества ворон выклеивают из земли осенние остатки семян.

Три куропатки расхаживают на середине луга, скошенная трава больше не дает им укрытия.

Как они выросли! Это теперь уже настоящие дамы. Они прислушиваются взволнованно. Я их всех вижу, но не беспокою и удаляюсь. Наверняка, какой-нибудь заяц дрожит, но теперь успокаивается и на краю борозды снова прячет свой нос.

По всей длине этой изгороди (тут и там последний листок бьется крылом, как птица, у которой схвачены лапки) дрозд удирает при моем приближении, он собирается спрятаться подалеже, потом подскакивает, как на пружинке, и под носом у собаки, ничем не рискуя, смеется над нами.

Постепенно туман рассеивается, а казалось, я уже потерялся. Ружье в моих руках это всего лишь палка, которая может вспыхнуть.

Откуда доносится этот смутный шум, это бляение, этот звук колокола, этот крик человека?

Надо вернуться. Дорóгой, уже неясной, я возвращаюсь в селение. Только оно само знает свое название. Обитают в нем смиренные крестьяне, которых никто никогда не посещает, кроме меня.



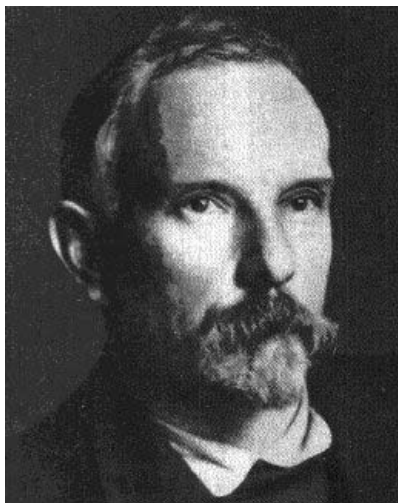
СОДЕРЖАНИЕ

<i>От издательства</i>	3
Охотник за образами	7
Курица	10
Петухи	12
Утки	16
Цесарка	18
Индюшки	20
Гусыня	22
Голуби	24
Павлин	26
Лебедь	28
Собака	29
Собаки	31
Дедеш умирает	34
Кот	40
Корова	41
Смерть Чернушки	43
Бык	47
Вол	49
Водяные мухи	51
Кобыла	53
Конь	54

Осел	56
Свинья	58
Свинья и жемчужины	60
Бараны	62
Коза	64
Козел	65
Заяц	66
Кролики	69
Ящерица	71
Зеленая ящерица	72
Уж	72
Еж	73
Ласка	73
Змея	74
Червь	74
Лягушки	75
Жаба	77
Кузнечик	79
Сверчок	80
Таракан	82
Светлячок	82
Паук	83
Майский жук	83
Муравьи	84
Улитка	86

Гусеница	88
Блоха	90
Бабочка	90
Оса	91
Стрекоза	91
Белка	92
Мышь	93
Обезьяны	95
Олень	97
Пескарь	99
Щука	101
Кит	101
Рыбы	102
В саду	108
Маки	110
Виноградник	110
Летучие мыши	111
Клетка без птиц	113
Чиж	114
Зяблик	117
Гнездо щегла	118
Сорока	119
Воробей	121
Ласточки	124
Дрозд	126

Жаворонок	128
Зимородок	130
Иволга	131
Трясогузка	131
Сойка	132
Попугай	132
Ястреб	133
Вороны	134
Куропатки	135
Бекас (Вальдшнеп)	144
Новая луна	148
Семья деревьев	149
Конец охотничьего сезона	151



Жюль Ренар



Агнесса Коган
Фото Д.Белякова

